

**ИВАН
КОНДРАТЬЕВ**

САЛТЫЧИХА

Женские лики – символы веков

Иван Кондратьев

Салтычиха

«Public Domain»

1890

УДК 821.161.1
ББК 4(2Рос=Рус)

Кондратьев И. К.

Салтычиха / И. К. Кондратьев — «Public Domain»,
1890 — (Женские лики – символы веков)

ISBN 978-5-486-03847-1

Иван Кузьмич Кондратьев (наст. отчество Казимирович; 1849–1904) – поэт, прозаик, драматург. Родился в с. Коловичи Вилейского уезда в крестьянской семье. Свои стихи, рассказы, романы помещал в «Русской газете», «Новостях дня», в журналах «Московское обозрение», «Спутник», «Россия» и многих других. Отдельными изданиями в Москве выходили пьесы-шутки, драмы из народной жизни, исторические повести, поэмы. В песенный фольклор вошли романс «Эти очи – темны ночи» и другие его песни и романсы. Предполагается, что ему принадлежит исходный текст русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Героиней романа «Салтычиха», публикуемого в этом томе, является помещица Подольского уезда Московской губернии Дарья Николаевна Салтыкова, известная крайне жестоким обращением с крепостными крестьянами. Следствием по ее делу было установлено, что она замучила насмерть более ста человек. В 1768 г. приговорена к смертной казни, замененной пожизненным заключением в монастырской тюрьме.

УДК 821.161.1
ББК 4(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03847-1

© Кондратьев И. К., 1890

© Public Domain, 1890

Содержание

Часть первая	6
Глава I	6
Глава II	11
Глава III	15
Глава IV	20
Глава V	24
Глава VI	27
Глава VII	30
Глава VIII	35
Глава IX	39
Глава X	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Иван Кондратьев

Салтычиха

Часть первая

Чертова сержантка

Глава I

На лесной дороге

Лес был спокоен и угрюм – был таков именно, каким он бывает нередко в конце сентября, когда трава совсем уже поблекла, лист пожелтел и осыпался, оставив только кое-где мотающиеся на серых прутьях листики. Небо хмурилось и, казалось, всякую минуту готово было разразиться теми бесконечными, назойливыми слезами, которые так свойственны северной осени.

Подобная угрюмость леса как нельзя более соответствовала и тем печальным, унылым речам, которые слышались под его оголенными вершинами.

Речь вели два человека – молодая девушка и молодой парень.

– Милый ты мой, милый! Дорогой мой! Ведь уезжаешь ты... – печаловалась девушка почти сквозь слезы, стоя прямо перед парнем со сложенными на груди руками и глядя на него в упор.

Парень прислонился спиной к осиновому стволу и как будто злился:

– Уж что тут!.. – говорил он. – Ехать надо... и поедем... А слезами да ахами тут не поможешь...

Девушка помолчала.

– Сама знаю, что не поможешь... Какая уж тут помощь – слезы! – сказала она несколько спокойнее и отирая кулаком наворачнувшиеся на глазах слезинки. – А все же уж очень мне не по себе и нудно, как вспомню, что вот и осень, и зиму, а там и весной до Николы придется прожить без тебя, Сидорка. Право же!

– Эх я для тебя малина с калиной, что уж без меня и прожить нельзя! – напустил на себя притворное удалство парень и хлопнул девушку по плечу. – Не грусти, Галя! Все будет складно да ладно – дай срок! Эх беда какая – уеду! Ну уеду – и приеду. Не век же я в Москве жить буду, не век же я там с Салтычихиными прихвостнями валандаться буду. К лету опять сюда, в Троицкое. И уж тогда во как заживем, Галя! Отдай да мало! А она нюни распускать! Брось ты все это!

Девушка, по-видимому, успокоилась, но голос ее все еще дрожал, когда она начала возражать:

– Брось ты все это! Хорошо тебе говорить, парню, такие слова. Тебе что – надел шапку набекрень и пошел себе на все на четыре стороны. Куда, мол, хочу, туда и ворочу – всюду простор, что ветру вольному. А нашей сестре, девчонке, совсем не таково.

– А каково же?

– А таково же! Ты себе пошел, людей увидал, ну все и позабыл! С тебя как с гуся вода. Поди, и красавиц на Москве увидишь немало. А увидишь – дело известное, тебе не говорить стать, что из того будет-произойдет. А нашей сестре слезы, да горе, да ночи бессонные. Ты завсегда меня на другую променять можешь.

– Вот уж это ты врешь, Галинка! – совершенно искренне возразил парень. – Никогда я ни на кого тебя не променяю! Ей-богу же не променяю!

Девушка печально усмехнулась:

– Божись больше – проживем дольше! Ваша речь, мужская, известна: пока до дела, так язык-то весь в мочалу истреплете. Вам он не дорог.

– А и диво же мне, Галинка: откуда ты, в лесу живучи, понабралась столько разуму! – начал шутить парень.

– Соколу лес не диво, Сидорка. Аль только у вас на барском дворе и ума понабраться можно?

– Ну, у нас этого мало, ума-то не понаберешься. А вот насчет битья, да колотья, да кнутья – так этого у нас достаточно, вволю! – проговорил парень и вдруг, как будто что-то вспомнив, как-то тревожно оглянулся.

– Боязно и здесь, в лесу-то, парень? – спросила девушка, оглянувшись в свою очередь и сама.

– Вестимо: пуганая ворона и куста боится. А Салтычихин глаз, кажись, все и из-под земли видит. Ты вот, моли Бога-то, Галинка, что при барском дворе не живешь. Жила бы – ой-ой что увидала бы! Не проходит, девка, того дня, чтобы кому-нибудь здорово не досталось. Нашему-то брату, мужчине, и так и сяк. А уж бабам – беда просто! Бьет чем ни попадя: и скалкой, и вальком, и плетью. Онамедни девку Агашку, прачку, в сажалку по горло в воду загнала. «Полощись, – говорит, – стерва, сама, коли полоскать белья не умеешь!» Та еле жива потом из воды вылезла: теперь лежит, не встает, да, поди, и совсем не встанет. Такая бедняга!

– Ишь у вас порядки какие завелись!

– У нас порядки этикие издавна ведутся. Аль не знаешь, неведомо тебе это?

– Не все, парень, ведомо.

Сидорка оглянулся и понизил, говоря далее, голос:

– Не обо всем и говорить-то можно. Ино и помолчать надо.

– Уж не потому ли вас там, на барском дворе, и дубасит Салтычиха, что вы все много помалкиваете?

– Смела больно! На вострый сук и вострый топор. Ты поди да поговори с ней, тогда и посмеивайся.

– Смеяться нечего, а, чай, на всяко дело свой суд есть. Питер не за горами – можно и до Питера пойти, до царицы.

– Поколь шагать, девка, будешь – всю спину изотрешь. А спина-то своя, не чужая, нет-нет – и пожалеешь!

– Иструсился, вижу я, и ты, Сидорка, живучи на барском-то дворе, – заметила девушка со своего рода милой презрительностью.

– Плетью обуха не перешибешь, говорят добрые люди... А все же, Галинка, по ком плетью ходила, тому она долго памятна будет. А у меня к тому же и память хорошая. Все помню, коли спина чешется.

– Ужели же, Сидорка, и тебе доставалось? – спросила вдруг Галина голосом любящей девушки, глядя участливо на своего милого.

Сидорка тряхнул кудрями:

– Дело бывалое! Салтычиха никому спуска не дает. Доставалось и мне, сказать правду.

– Доставалось? – переспросила девушка.

– Доставалось!

– Ах, милый ты мой, милый! – проговорила с нежностью девушка, положив правую руку на плечо Сидорки. – Так и тебя терзала-мучила эта волчиха ненасытная?

– Уж как мучила-то – по смерть жизни не позабуду! Здорово встрепку задала! Лихо!

– За что ж это, скажи-ка?

– За баловство. Побаловал не враз.

– Ну?

– Правду сказать: маленько бы и стоило, да уж не так. А то ведь целый месяц спины разогнуть не мог: и сесть нельзя, и лежать неспособно. Так стоя и спал.

– Бедный Сидорка!

– Вот истинный Бог!

– За что же?

– Говорю: за баловство. У ейной любимой собачки – околела уж, такая паршивая была – я, вишь ты, шерсть маленечко поощипал. Привязал ее к плетню – и ну щипать. Собачонка визжит, ребята хохочут. Чудно таково! Ну и вышло...

Девушка медленно сняла руку с плеча парня.

– А ведь это нехорошо, Сидорка, – кротко упрекнула она парня, – щипать ни за что, ни про что собачонку. За что ты ее щипал? Кусала она, что ли?

– Нет, да уж больно паршивая была.

– Нехорошо, – повторила еще раз девушка.

– За то и отбарабанили.

Девушка молча поглядела сперва на парня, потом куда-то в пространство, а потом, подумав, заметила:

– Какие вы все там злые!

– Будешь зол! – вдруг как бы обиделся Сидорка. – Будешь зол, когда с утра до вечера только одно и видишь, что битье да битье. Так-то немудрено и зверем стать. Вон Акимка... Какой паренек был – любо-дорого! От вас, из сторожки, пришел – на парня налюбоваться не могли, а теперь таким волчонком стал, что хоть бы опять в лес, да не к вам, к деду Никанору, а в волчью сурчину. Палач палачом.

– Правда? – удивилась девушка.

– Врать не стану. Сама, поди, узнаешь. Как поступил в кучера, так всех, как лошадей, и хлестать зачал. Вестимо, воля не своя... А все же...

Сидорка махнул рукой: не стоит, мол, об этом и говорить – понятно.

– А ведь я с ним росла, с Акимом-то, – начала рассказывать девушка. – С ним играла, по лесу бегала, землянику собирала, малину, орехи, грибы. Заберемся, бывало, в чащу, аукаемся, смеемся. Шустрый был мальчик и добрый, да только глаз у него был какой-то чудной. Станет, бывало, супротив меня – и глядит, не трогается, словно его вкопал кто в землю. «Чего, – говорю, – Аким, глядишь?» – «А ничего, – говорит, – Галинка, глядеть хочется». И уставится в землю. Не любила я у него этих глаз. Что, и теперь они у него такие? Я его давно не видала, Акима-то!

– Ну, какие у него там глаза – не разглядел, а что насчет морды – очень уж разбойничья морда. Морда самая недобродетельная.

– Как же так изменился человек? И никто не знает, отчего он изменился? – недоумевала девушка. – А паренек был добрый. Я плакала, когда его увозили от нас, из сторожки. Батюшка тоже немало печаловался о нем. «Вот, – говорил, – помощника от меня и отняли! На что мне, – говорил, – девка? (Это про меня.) С парнем все веселей! Хоть он мне и не сын, приемыш, а все веселей». И точно – без него попервоначалу скучненько было. Потом ничего, пообошлись, живем кое-как с батюшкой и по сей день. Только ты вот у меня и смутник один есть, Сидорка.

– Чево мне тебя мутить-то, Галина! Мутить мне тебя не с руки, да и не таковской я парень, чтобы мне зазнобу-девочку мутить! – проговорил Сидорка несколько раздражительно, махнув рукой, а потом с унынием прибавил: – В омут бы головой мне теперь! Право слово, Галя, в омут!

Галя вдруг встрепенулась, как будто ее что-то ужалило.

– Ты что это? О чем? – заговорила она бегло, и в голосе ее зазвучала нежная и в то же время решительная нотка. – С чего ты это, парень, взял – в омут головой? Аль нам жизнь

надоела? Аль уж мы не люди и повеселиться вовремя не сумеем? Эх, парень, махни на все рукой!

Галина хлопнула Сидорку по плечу, тряхнула головой. В этих ее движениях проглянуло сразу что-то цыганское, дикое. Она сразу как будто вся изменилась, стала иною. Прежней, несколько плаксивой, как казалось, девушки будто не бывало. Лицо ее запылало, глаза вспыхнули, все тело вздрогнуло.

Приунывший было Сидорка под влиянием ее оживления оживился и сам.

– Цыганочка ты у меня, Галя! – воскликнул он, улыбаясь во все лицо удало и сладко, как человек, вполне сознающий в данное время свою силу. – Право, цыганочка!

– Цыганочка и есть! – согласилась Галина. – Чай, сам знаешь, кто я такая.

– Как не знать! Все знают, что мать твоя цыганка была. Вишь, глазищи-то у тебя какие! Э, черт этакой! – вдруг вскрикнул задорно парень и смело обхватил Галину одной рукой за стан.

Девушка не сопротивлялась, стояла на одном месте, но мгновенно повернула голову в сторону.

– Тише ты! Постой! – сказала она тревожно, к чему-то прислушиваясь.

– Чево там еще? Аль зазналась?... Впервой, что ли?..

Сидорка бестолково захохотал.

– Тише ты, дурень! Говорю, тише! – остановила его Галина.

И вдруг она что было силы толкнула парня в сторону, прошептав:

– Беги, черт этакий! Барыня едет! Эх как нас на дорогу вынесло!.. Нашли место!...

Сидорка испуганно, ничего не соображая, шарахнул в лесную поросль.

Но было уже поздно.

В нескольких саженях от того места, где вели прощальную беседу влюбленные, показалась маленькая тележка в одну сытую лошадку, с кучером. В тележке сидела женщина лет за тридцать, плотного сложения, довольно еще красивая для своих лет. Она, как выслеживающая свою добычу орлица, держала голову несколько вполуборот в ту сторону, где стояла Галина, и, сжав толстые губы, прямо и холодно глядела на девушку. Тележка бесшумно, но быстро приближалась к Галине.

– Стой! – грозно крикнула барыня хриплым голосом, когда тележка поравнялась с девушкой.

Тележка так же бесшумно, как ехала, стала.

– Чья шлюха?... Никанорова?... – начала барыня, не спуская глаз с девушки.

– Так точно-с, Никанорова буду, – отвечала девушка тихо, но смело.

– Вишь, выросла как, дубина какая! В запрошлом году щенок щенком была. Годов сколько?

– Семнадцать.

– И, поди, семнадцать таких же вот молодцов, кой сейчас шмыгнул в кусты?

Девушка молчала, опустив глаза, и мяла правой рукой кусок какой-то тряпицы, изображавшей передник. Сердце ее билось. Она чувала грозу.

Встреча с барыней, с Салтычихой, как ее прозвали крепостные, и при более благоприятных условиях никогда не предвещала ничего хорошего. Все по возможности избегали с нею встречи и нередко просто прятались при ее появлении. Салтычиха знала это и всегда принимала меры, чтобы заставить всех и всякого врасплох. Она ездила тихо, ходила еще тише, переодевалась в разные одежды и в итоге достигала того, что являлась всюду, по пословице, как снег на голову.

На этот раз Салтычиха была еще к тому же почему-то не в духе. Беда над головой девушки висела неминуемая.

– Что же молчишь-то? – крикнула Салтычиха. – Аль язык отнялся? Отвечай! С милым, поди, голубкой ворковала, ласточкой щебетала, говорила не наговоришься, да еще разок-другой

сюда прибежать обещалась! Кто он, прохвост-то твой? Говори! Сама не разглядела, так, думаю, девочка, по доброте своей все мне о нем расскажет! Любопытна уж я очень, все знать-ведать хочу, красавица! Ну, кто?

– Не знаю... прохожий какой-то... дорогу спрашивал... – пробормотала Галина, вся дрожа.

Салтычиха зло разорялась:

– Ну, ты ему, красавица, дорогу и указала?

– Указала.

– То-то он так рванул в кусты! – продолжала смеяться Салтычиха. – Поди, обрадовался, что дорогу-то нашел.

Она рассмеялась еще злее, как-то тихо, с хрипотой, и привстала на тележке.

– Подь-ка сюда, ко мне, красавица... да поближе.

Галина подошла.

– Так не знаешь? – спросила с каким-то шипением в голосе Салтычиха.

– Не знаю, – упорно отвечала девушка.

– Акимка, дай-ка мне кнут! – приказала барыня.

Акимка, тот самый Акимка, о котором только что вели речь Сидорка с Галиной и который был приемышем отца Галины и другом ее детства, медлительно, даже совсем-таки нехотя подал Салтычихе свой кнут, а сам отвернулся и стал чего-то возиться над сиденьем.

Между тем кнут, взвившись тонкой змейкой, мелькнул раз-другой в воздухе. Казалось бы, после этого должен был раздаться крик, стон, мольба... Но нет – этого не было: под хмурыми, оголенными вершинами леса не раздалось ни крика, ни стоны, ни мольбы...

Девушка стояла на одном месте, стояла не шевелясь, тихо и покорно. Она даже не дрогнула ни одним членом своего тела. Стояла – и только...

Глава II

Ослушник

Дружная семья рослых многолетних сосен словно бы для того только и расступилась и раздвинулась, чтобы дать место сторожке полесовщика Никанора.

Сама по себе сторожка не представляла ничего привлекательного, заманчивого: это был самый обыкновенный сруб в три окна, с крылечком, без всяких украшений. Не было даже обыкновенных в русских избах коньков над крышей или какой-нибудь мазни на ставнях. Впрочем, и ставень-то в сторожке не было. Стояла себе сторожка одна-одинешенька, как сирота, и, как сирота, выглядела печально и подслеповато.

Но эту сторожку любил полесовщик Никанор, и ни за что бы не решился променять ее не только на хорошую, красивую избу в селе, но даже и на каменные палаты в Москве.

Вот он и сам вышел из сторожки. На нем суконный, смурый кафтан с кушаком, на голове шапка-зимогорка, на ногах смазные сапоги, в руках старое ружье. Идет он походкой медленной, ровной, точно прислушивается ко всему, приглядывается – это привычка к лесной жизни, привычка быть осторожным. Ему хорошо известно: в лесу жить – по волчьей выть. Никанору на вид лет за пятьдесят, но он еще бодр и здоров. Большая седая борода окаймляла его довольно еще свежее лицо и покоилась на широкой груди, на которой, как говорится, хоть рожь молоти. Вообще Никанор был из тех, о которых в народе говорят «это старого леса кочерга».

Невзирая на свою наружную суровость, Никанор был добр и незлобен чрезвычайно. Глядя на этого человека, никто бы не поверил, что он в полном смысле слова и мухи не обидит. Он и точно никогда никого не обижал: не обижал тогда, когда был дворовым, не обижал и тогда, когда сделался полесовщиком – настоящим человеком леса, угрюмым на вид и даже с ружьем в руках. Все крестьяне сельца Троицкого любили его за это, не заглядывали с недоброй мыслью в лес, и поэтому он у него находился в образцовом порядке. Была довольна Никанором даже сама грозная Салтычиха, которая, как говорится, и на солнце видела черные пятна. Ружье с собой Никанор носил только для «прилику», для страха: он из него почти никогда не стрелял.

Вышел Никанор из своей сторожки, поглядел направо, поглядел налево – и громко, как-то странно крикнул:

– Го-о! Го-о!

«Го-о!» пронеслось по лесу эхо и где-то затерялось, застыло в отдалении.

Это был обычный у Никанора возглас, которым он призывал бродившую по лесу дочку. Обыкновенно дочка откликалась: «Ау, тятка!» – и шла домой в сторожку.

На этот раз она не откликалась.

«Эк запропастилась!» – подумал Никанор и, постояв в ожидании, не откликнется ли она, снова крикнул.

Снова откликнулось эхо. Но дочка не откликалась.

Никанор медленно пошел по дороге, вовсе не заботясь о том, что в сторожке, кроме старого кота, никого не осталось: там человеку, желающему воспользоваться чужим добром, нечего было брать. Никанор был беден и даже не скопил ничего для дочки: у отца с дочерью только то и было, что они носили на себе – роскошь уж совсем-таки необходимая. Терпкая бобылья жизнь приходилась как-то по вкусу и отцу и дочери.

На каком-то повороте дороги Никанор совершенно неожиданно встретил тележку барыни, а вместе с тем и свою дочку, которая медленно шла за медленно двигавшимся экипажем Салтычихи.

При первом же взгляде на барыню и на свою дочку Никанор догадался, что произошло что-то неладное. Салтычиха была красна, как свекла, дочка его, Галина, наоборот, была бледна

и шла за тележкой той нервно-сдержанной походкой, неровной, беспокойной, которая особенно свойственна женщинам открытого характера.

«Быть грозе», – подумал Никанор и с низким поклоном приветствовал барыню.

Та немедленно спросила:

– Все ли у тебя в порядке, старый сын?

– В порядке, матушка-барыня, в порядке, – залепетал полесовщик. – Все в порядке по милости вашей, матушка-барыня.

– А не врешь, старая крыса?

Полесовщик растерялся. Он посмотрел сперва на барыню, потом на дочь, потом на кучера Акима, словно бы ища в них какой-либо опоры. Но все как бы окаменели в своем молчании, и он понял, что барыня хочет на чем-то его изловить, уличить его. Ему стало жутко.

– Матушка-барыня! – простонал он. – Казни, милуй, а я ни в чем не повинен!

Он низко поклонился барыне, и в то время, когда поднимал голову, глаза его невольно встретились с глазами дочери. Какой-то нехороший, перебегающий огонек заметил он в них и тут же решил, что «все это из-за дочки».

Одновременно и Салтычиха пристально, почти пронзительно глядела на растерявшегося полесовщика.

– Аль тебе невдомек, о чем речь-то? – прошипела она, все еще не отрывая глаз от полесовщика.

– Матушка, невдомек! – почти вскрикнул полесовщик, в самом деле не понимавший, чего хочет от него барыня, хотя и догадывавшийся, что во всем этом замешана дочь.

– Невдомек? Вишь, какие у меня мужики стали недогадливые! – прохрипела Салтычиха, а потом, почти успокоившись, приказала: – Повороти-ка оглобли назад, веди в свою сторожку! Авось там посмышленнее станешь.

Приостановившаяся было тележка снова тронулась вперед.

Салтычиха, по-видимому, успокоилась и даже без свойственного ей всегдашнего озлобления расспрашивала Никанора по хозяйственной части, касавшейся преимущественно леса: сколько заготовлено дров на зиму, много ли было ягод и грибов и усердно ли то и другое собирали девки, нет ли медведей и тому подобное. Никанор, идя рядом с тележкой, без шапки, удовлетворительно на все отвечал, но голос его дрожал, и он чувствовал, что сердце его сжимается болью и даже как будто подкашиваются ноги: Никанор при всей своей видной, богатырской наружности не мог похвастать смелостью. Несколько раз украдкой он взглядывал на дочь, но та намеренно не замечала его взглядов и шла за тележкой с выражением на лице невольного напряжения. Все это еще более пугало Никанора.

Когда тележка остановилась у сторожки, Салтычиха с помощью Акима и Никанора медленно вылезла из нее и потребовала скамейку. Скамейка тотчас была принесена. Аким положил на скамейку подушку – и барыня села, поставив ноги тоже на подушку, которую Аким, зная свое дело, расторопно подсунул ей под ноги.

Минут пять Салтычиха сидела молча, медленно дыша и неторопливо оглядываясь вокруг. Потом она остановила взгляд на полесовщике.

– Ну, я к тебе, Никанор, – сказала она злорадно, – в гости... Аль не рад?

Никанор закланялся:

– Рад, матушка-барыня! Рад!

– А рад, так угощай. Гостя я у тебя редкая.

– Матушка-барыня! – только и мог воскликнуть Никанор.

– Ну, коль ты не хочешь – пусть угостит дочка, она на угошенья горазда. Ну, куропастица, угостишь? – обратилась Салтычиха уже к Галине.

Галина с мертвенной бледностью на лице молчала, но в глубине глаз ее сверкала какая-то искорка, которая не предвещала ничего хорошего.

Салтычиха продолжала злорадствовать, видимо наслаждаясь смущением девушки:

– Отвечай же – угостишь? Аль скупа для барыни стала? И то, ведь я не добрый молодец – баба, для меня и покуситься можно. Эх я дура старая! И не догадалась о том ранее, не додумалась! – Салтычиха на мгновение смолкла и вдруг зарычала каким-то удушливым голосом, как будто на горле ее пробовали крепость веревки: – Так не скажешь, кто он-то, твой добрый молодец?

– Не скажу! – ответила твердо Галина и вызывающе взглянула на Салтычиху.

Салтычиху будто ошарашил кто: она сидела на своей подушке ни жива ни мертва от злости. Такая смелость со стороны девушки, по ее взглядам, превышала всякое вероятие, это для нее было нечто невозможное, немислимое, нечто такое, чего она не могла даже никогда допустить. Взглянув на барыню, и Аким и Никанор перепугались до невероятности. Бедный полесовщик просто готов был провалиться сквозь землю. Он переводил свой блуждающий взор с барыни на дочь и ничего решительно не понимал, но чуял, что над ним висит гроза неотразимая, а сердце его ныло и замирало ежеминутно.

У Салтычихи натура была чудовищная, и голосом своим она владела, как владеет хорошая баба вальком. Совершенно тихо, даже как будто ласково, она, помолчав и отдышавшись, обратилась к Никанору:

– Вишь, какая твоя паскуда неблагодарная: к ней барыня честь честью, а она – нос на полати! Не хочу, мол, вас и знати! Ну что ж! Меня, бедную вдову, всякому обидеть легко – на то я и вдова! – дурачилась далее барыня. – Ведь так, Никанор?

– Матушка-барыня, помилуй! – взмолился Никанор.

– Что ты, что ты, родной! Да ты передо мной ни чуточки не виноват! Вот дочка – дело другое. Дочка меня обидела. Дочка передо мной виновата.

Галина вдруг сделала движение:

– А коль виновата я, так и бейте меня, так и казните меня! Вот я вся тут, какая есть, вся перед вами стою! Бейте меня, казните меня!

Голос ее на последнем слове оборвался, и дышала она тяжело и порывисто, и озиралась кругом, как пойманный зверек.

– Чего так взметалась, красавица! Пообожди! На все свой черед! – остановила ее порыв Салтычиха. – Вот теперь черед за Никанором. Никанор! – обратилась она к полесовщику. – А ну-ка скажи, лысый бес, не знаешь ли того добра молодца, какой к твоей дочке, к твоей королевичне писаной по дням, а то, может, и по ночам ходит-бродит, сладки речи заводит? Аль не знаешь такого?

Никанор всплеснул руками.

– Дочка! – вскрикнул он, обратившись к Галине не то с жалобой, не то с упреком, и опустил голову на грудь.

– Ах, старый пес, черт те наворот! И он туда же за дочкой! В бирюлечки играет, тоже незнаюшку из себя ломает! – ехидно воскликнула Салтычиха. – Ну из тебя-то я, старая скотина, весь сор повытрясу! Ну, говори: кого такого твоя потаскушка в темном борочке на бугорочке частенько поджидает, устали не знает? Кого?

– Матушка-барыня, – взмолился Никанор, – убей на месте – не знаю, не ведаю!

– Ой, правда ли то, старина?

– Не знаю, не ведаю! – мог только повторить Никанор, и в самом деле ничего не знавший о том, что его дочка завела себе ясного сокола.

– Батька ничего не знает, – глухо проговорила Галина. – Он о моем грехе не ведает.

– Ну, ин быть так: не знает и не ведает, – как бы смягчилась несколько Салтычиха. – Мы дело повернем на иной толк. Как же так ты, лысый бес, не знаешь о том, что делает твоя дочка?

– Казни, милуй, матушка-барыня, повинен, во всем повинен! – закланялся Никанор.

– И то дело: повинную голову и меч не сечет. Теперь я у тебя спрошу, старый хрен: ты отец?

– Отец, матушка, отец!

– А коль отец и заповедь Божью помнишь, то и спроси дочку: с кем она сегодня, с часок тому назад, на дорожке в лесу стояла, ясной голубочкой ворковала? Спроси-ка: с кем?

Никанор несколько приободрился. Он знал, что дочь любит его, и совершенно был уверен в том, что на его вопрос она ответит искренне, не солжет.

– С кем, дочка, скажи? – обратился старик к дочери. – Скажи, коли была?

– Была! Точно что была, батюшка! – заговорила девушка дрожащим, гортанным голосом. – А уж с кем – не скажу и тебе. В другое время сказала бы, не утаила – я никогда ничего от тебя, отец, не таила, – а теперь утаю, не скажу! Так и знай!

– Вот это девка! – воскликнула Салтычиха таким голосом, что у полесовщика мороз по коже пошел. – Умеет грешить, да умеет и ответ держать! Ну а ты, старина, – обратилась она к Никанору, – умеешь кнут в руках держать?

– Матушка! – вскричал тот.

– Умеешь?

– Помилуй!

– Аким! Дай-ка ему кнут, пусть поучит дочку-то при мне. Погляжу, какова будет отцовская наука! Может, и получше моей.

Аким завозился в тележке, что-то неохотно отыскивая. А старик тем временем бухнулся Салтычихе в ноги, и взмолился:

– Уж повели лучше, матушка-барыня, поучить меня, старого дурака! Стою я того!

– Поучу и тебя! А ты дочку-то сперва поучи!

– Матушка, не под силу мне это!

Салтычиха привстала:

– Не под силу?!

– Не под силу! Не подниму я руки на дочку на свою, на свою кровь! Не подниму, матушка-барыня!

Несколько мгновений Салтычиха молчала. Она была вне себя. Озлоблению ее не было предела.

– Аким! – приказала она каким-то неестественным, захлебывающимся голосом. – Отдубась эту старую лисицу чем попадая, да не жалея! Пусть одумается!

Салтычиха медленно и тяжело дыша села опять на подушку и в ожидании расправы сжала от злости свои толстые, мясистые губы.

Аким медлил.

Вдруг Галина тряхнула головой, точно на ее голову упала змея.

– Нет, барыня!.. Постой!.. Того не будет!.. Не будет! – вскричала она порывисто звучным, гортанным голосом, в котором сказалась вся ее цыганская, дикая натура.

Вскричала и, растопырив руки, смело и судорожно шагнула к Салтычихе.

Глава III

Под шум непогоды

Встала и шагнула к Галине и сама Салтычиха. Произошло то, что и должно было произойти: тигренок уступил место тигрице. Бой, ежели бы он мог произойти, был бы слишком неравен. На стороне Салтычихи было все: и власть, и личная физическая сила, и привычка повелевать, и жестокость. На стороне девушки было одно желание спасти ни в чем не повинного отца, защитив его своим телом, и еще ненависть, которая, собственно, и породила в ней отважность.

Девушка отступила. Невыразимый страх овладел всем ее существом, когда глаза ее, влажные, сверкающие ненавистью, встретились с сухими, покрасневшими до белков глазами Салтычихи. Бедная девушка чувала, что не отступи она – Салтычиха растерзала бы ее, как котенка. И точно, это бы произошло. Салтычиха обладала цепкими, сильными руками, привычными ко всякого рода расправам. Она при таких условиях задушила бы и более здорового человека, чем Галина.

Испугавшись своей отважности, девушка закрыла лицо руками, а слезы так и брызнули у нее из глаз. Она рыдала и ждала, что побои тотчас же посыплются на нее; она даже желала их, как какого-то за что-то искупления. Но произошло нечто странное, нечто неожиданное, почти ничем не объяснимое: Салтычиха, постояв с минуту на одном месте, медленно опустилась на подушку и так же медленно вздохнула – вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору.

– Ну! – произнесла она почти спокойно, обращаясь к Никанору, лежавшему на земле ничком без движения. – Встань-ка ты, подымись! Что валяешься, как падаль на задворках? Аль душа в пятки ушла? Коль ушла – вороти ее на старое место. На первый раз прощаю тебе, старому сычу, твою провинность – ослушание. Только гляди, чтоб больше этого не было: в другой раз не пожалею твоей старой спины, как теперь, – так-то отхлещу... Ну вставай же, не бойся!

Никанор медленно поднялся с земли.

– Милостивица! Матушка! – пролепетал он с умилением и чуть опять, кланяясь, не упал на землю.

– Да прощаю уж, кстати, и дочке, – продолжала Салтычиха. – Пусть ее гуляет с молодцом! Коли мой, троцкий, как-нибудь и замуж выдам. Только она у тебя, старичина, никак хвоя: у ней не падучая ли? Отведи-ка ее в сторожку да уложи, пусть отлежится. А этак к Казанской приводи ее ко мне, на Москву, пусть к делу привыкнет. Довольно ей погуливать-то да ворон в лесу пугать – пора и на людей поглядеть, себя показать. А показать есть что: вишь, из себя какая складненькая да ровненькая – словно березка по весне, так вся и трепещется. Иди-ка, голубонька, да поотлежись, – обратилась Салтычиха уже к Галине. – Да уж не взыщи, что пугнула тебя маленько. Нравная я – ни за что ни про что девку выбрала. Экая я несуразная! – заключила Салтычиха и закачала, будто о чем-то сожалея, головой.

Всю эту долгую не то насмешливую, не то ласковую речь Салтычихи Галина слушала как во сне. Ей и верилось и не верилось тому, о чем только что говорила барыня. Неужто она смиловалась? Неужто она простила ее? Да может ли это быть! Ведь про барыню такие нехорошие слухи идут, столько страшного говорят про нее. А может, люди и врут; ведь так часто люди говорят неправду, так часто взводят на человека то, о чем тому и во сне не снилось.

Между тем Салтычиха сидела все с тем же странным спокойствием и, казалось, все более и более принимала участие в девушке, совершенно не понимавшей, как, собственно, глядеть на барыню: как на врага, который, сознавая свою силу, только тешится смущением и боязнью своей жертвы, чтобы после этого еще более упиться наслаждением мести, или же как на благодетельницу, которая только на минуту перед этим, уступив злым побуждениям своего сердца,

в свою очередь увидела в ней, в девушке, врага и на этом основании и поступала с ней, как с врагом.

Девушка подчинилась последнему чувству. Пылкая от природы, но доверчивая и притом совсем не знавшая ни жизни, ни людей, где так много искусственного, лицемерного, она верила первой ласковой улыбке, первому ласковому слову. Поверила она и ласковости Салтычихи и, поверив, само собою разумеется, взволновалась чувством благодарности, которое выразилось тем, что она, подобно отцу, бросилась барыне в ноги и воскликнула в избытке благодарности:

– Барыня!.. Голубушка наша!.. Не обессудь, что сказала тебе слово неразумное! Прости!

Голос девушки звучал такой искренностью, такой нежностью, что невольно привлекал к себе и заставлял пожалеть, полюбить эту добрую девушку. От нее веяло той невинностью, которая свойственна только милому, капризному ребенку.

Бывают минуты, когда и самые жестокие сердца, самые злейшие люди чувствуют какую-то безмятежность, смягчаются и прощают другим то, чего бы они при других обстоятельствах никогда не простили.

Такие минуты нашли на Салтычиху. Она вдруг как бы переродилась: лицо ее, почти всегда дышавшее злым выражением, прояснилось широкой улыбкой, глаза сверкнули ласковостью. Она, видимо, успокоилась.

Несколько мгновений с этой доброй улыбкой, с этой ласковостью глаз она смотрела на лежавшую у ног ее девушку.

Чутким девичьим сердцем Галина угадала, что барыня простила ей, что она уж больше не в опале, и, в свою очередь, не успевшими еще осушиться от слез глазами посмотрела на Салтычиху – посмотрела невинно и доверчиво, как смотрит дочь на любимую свою мать. И точно, в данную минуту Салтычиха и Галина представляли своеобразную, оригинальную картину – мать, примиряющаяся со своей дочерью. Это было так естественно, так просто, что в душевной своей простоте загляделись даже на них, – по-своему, конечно, – и кучер Аким и полесовщик Никанор. Поразила и их доброта Салтычихи – доброта, которой они, может быть, давно уже не видали у барыни.

Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы на дороге, ведущей к сторожке, не послышался вдруг стук конских копыт. Видимо, кто-то торопился прямо к тому месту, где происходила только что описанная выше сцена.

Салтычиха прислушалась.

– Аль едут? – спросила она, по обыкновению подняв настороженно голову.

– Едут, матушка-барыня, едут! – поторопился ответить Никанор.

– Кто бы? Узнай-ка!

Никанор кинулся в ту сторону, откуда слышался стук копыт, откуда кто-то торопливо подъезжал, и через минуту скрылся за деревьями; мелькнул только его смурый кафтан.

Салтычиха между тем положила свою руку на плечо девушки.

– Встань-ка ты, чего валяешься? – проговорила она, но уже не тем ласковым голосом, как прежде, но с оттенком некоторой нетерпеливости.

Девушка медленно встала.

– Ах, барыня, барыня! – тихо произнесла она, полная чувством благодарности, все еще не спуская заплаканных глаз с Салтычихи.

– Погоди радоваться-то, красавица! – осадила ее сразу Салтычиха. – Подле огня обожжешься, подле воды обмочишься. Нет ли возле того и другого.

Галина молчала. Ей никак не хотелось отрешиться от того чувства, которое только что внушила ей Салтычиха. Она все еще хотела видеть в ней добрую, справедливую барыню, все еще, вопреки слухам, которым сама она прежде верила и знала, что они справедливы, – все еще хотелось ей уверить себя в неблагодарности людей относительно барыни.

«Да врут люди, врут! – думала благодарная девушка. – Господами всегда недовольны – уж это дело известное, уж это всякий знает. Господа и справедливо накажут, а люди будут говорить, что господа их мучают, что господа их тиранят».

Так думала девушка, позабыв даже о том, что сама она при свидании с Сидоркой называла барыню «волчихой ненасытной». Благодарность, оказалось, брала верх над ненавистью. Люди, как говорится в народе, «с горячим сердцем» всегда способны на подобные быстрые переходы от одного чувства к другому – от чувства ненависти к чувству любви. Женщинам это свойственно в особенности.

В голове Салтычихи промелькнули мысли совсем в другом роде.

«Вся в мать, чертова кукла, такая же оглашенная! – подумала она и тотчас же задала себе вопрос: – Кто бы такой мог ехать сюда в такую пору?»

Ей не нужно было долго ждать ответа.

На дороге показался всадник, сопровождаемый полесовщиком.

Это был красивый молодой человек, лет двадцати пяти, одетый в серую венгерку с черными жгутами. Он молодецки сидел на седле и, подъехав к сторожке, так же молодецки соскочил с коня и торопливо, с наклоном вперед всего корпуса, подошел к Салтычихе.

– Дорот! Дорот! Что вижу я? – воскликнул он, встав перед Салтычихой в какую-то театральную позу, изображавшую, как ему, вероятно, казалось, позу удивления.

– А что? – спросила та просто.

– Ты еще спрашиваешь, Дорот? Спрашиваешь? – продолжал, стоя все в той же позе, приезжий – молодой инженер по фамилии Тютчев, который был очень близким человеком в доме Салтычихи.

– Отчего же не спросить, батенька?

– Удивительно! – воскликнул приезжий, растопыривая руки, что, вероятно, изображало еще большее удивление. – Удивительно и непостижимо! На дворе холодная осень, вокруг лес, небо хмурится, готов пойти дождь, а ты сидишь... сидишь на открытом воздухе!.. На открытом воздухе! – повторил он с особенным ударением и развел как-то особенно картинно руками.

– Э, батенька, Тютченька мой! Я ко всему привычна! – сказала Салтычиха. – Чай, не неженка какая, не франкмасонка! Про меня вся округа, вся Подоль, сам знаешь, такову речь ведет: «Где черту карачун, там Салтычихе здорово». Так-то, Тютченька мой!

– Фи, Дорот, что за речь!

– Простая, батенька, речь! Чиниться мне не для чего и не для кого! Тут все свои галманы.

– Галманы?

Тютчев поочередно, с какой-то своеобразной выдержкой во всей фигуре поглядел на всех присутствующих крепостных, стоявших, как и должно было быть, в почтительной позе. Помимо воли взор его несколько долее остановился на Галине, и легкая улыбка удовольствия озарила его красивое лицо.

– Кто сия? – спросил он у Салтычихи.

– Пила бы лиса молоко, да рыло коротко! – отрезала Салтычиха без всяких околичностей.

– Дорот!.. Фи!.. – воскликнул тот, к кому относились эти слова. – Право, я тебя не понимаю!

– Зато я тебя понимаю, Тютченька! – ухмыльнулась Салтычиха. – Девочка-то в прыску, ну ты и глазища выпучил, как баран, коего собираются резать.

– Дорот!

– Что за Дорот? Какая я Дорот! Говори просто – Дарья!

– Ну, Дарья... Дарья!

Салтычиха встала.

– А Дарья... так и трогаемся отселева восвояси. Я ведь сюда на час время. Хочу вот эту королевишну писаную, пташку лесную эту, на Москву к себе взять...

– Резон подходящий... – вставил свое словцо Тютченька.

– Дело известное: вам, мужланам, этакой кумач всегда подходящ! – заметила Салтычиха, трогаясь с места.

– Ах, Дорот!... – воскликнул Тютченька и сделал какую-то странную гримаску, вскользь, из-под бровей снова взглянув на Галину.

Аким, подхватив подушки, завозился у тележки. Полесовщик взял под уздцы верхового коня.

– Ты уж не за мной ли? – спросила у Тютченьки, приближаясь к тележке, Салтычиха.

– Именно, именно за тобой, Дорот, мне надо передать тебе очень-очень нужное дело.

– Так едем. Садись-ка на своего одра. А я вот в тележку свою залезу, в тележке-то мне способно.

Аким помог барыне сесть в тележку и ловко вспрыгнул на козлы. Тютченька вскочил на своего «одра».

– Ну, старый хрыч, – обратилась Салтычиха к Никанору, все еще стоявшему без шапки и с изумленным лицом, – не забудь, что я тебе сказала. На Казанскую чтоб лебедушка твоя была у меня.

– Будет, матушка-барыня, будет. Привезу.

– Да не забудь поучить маленько: неученых мне не надобно. А сама учить начну – может, и не поздоровится. Поучи.

– Поучу, матушка-барыня, поучу, как не поучить! – лепетал почти бессмысленно Никанор.

Тележка тронулась. Рядом с нею загарцевал и «одер» Тютчева.

– Прощай, королевишна! – прохрипела Салтычиха, обернув голову к Галине. – Поторопись ко мне-то... не забудь!

Галина не знала, что отвечать. Она стояла в каком-то забытии и даже не заметила, как молодой инженер, уловив удобную минуту, послал ей довольно выразительный воздушный поцелуй. Не заметила она и того, как кучер Аким искоса глянул на нее, как бы желая этим взглядом передать что-то для нее необходимое. В душе ее происходил какой-то невообразимый переполох.

Никанор без шапки, насколько доставало его сил, побежал вслед за тележкой, скрылся вместе с нею, но вскоре возвратился усталый, весь в поту.

Галина уже сидела на скамеечке, закрыв лицо руками. Она ждала отца.

– Конец! Всему конец! – произнес Никанор каким-то упавшим голосом.

Галина медленно подняла голову.

– Что смотришь, дочка? Аль не разобрала, в чем дело? Не поняла?

– Не поняла, батюшка, – проговорила медленно Галина.

– А не поняла – тебе же все на голову падет. Горе тебе, дочка, неминуемое. Горе тебя ждет, дочка!

– Какое горе?

– Такое! Никогда и ни за что не простит тебе барыня того, что ты сделала.

Галина, помолчав, спокойно произнесла:

– Я и сама теперь так думаю. Не простит.

Отец и дочь молчали. В лесу, и без того уже темном, становилось еще темнее. Серые осенние тучи заволакивали небо, ветер пробегал по вершинам деревьев, и уже начал накрапывать мелкий, надоедливый дождик, известный под названием осеннего и бесконечного.

Отец и дочь вошли в сторожку. Там уже было темно, как ночью. Галина зажгла лучину, села у светца и задумалась.

– Думать нечего, дочка! – начал Никанор с какой-то несвойственной ему решимостью. – Надо дело делать!

– Какое? – почти машинально спросила Галина.

– Надо бежать.

– Кому?

– Тебе, дочка. Мать твою бежала от беды, беги и ты.

Галина молчала, но лицо ее передергивалось какой-то странной судорогой, и, видимо, она на что-то решалась.

– Нет, батюшка, я тебя не покину, не уйду от тебя! – сказала она решительно глухим голосом.

– Стало быть, погибели ищешь, дочка?

– Зачем? Погибать мне еще рано.

Сильный порыв ветра пронесся в это время на дворе – и лес застонал и загудел, как бушующее море. Дрожала даже от порывов ветра и сама сторожка.

– Слышь, батюшка, как непогодь бушует? – начала Галина каким-то неведомым доселе отцу голосом. – Ну вот... бушует она, батюшка, ревет, стонет, гудит, что леший какой, хочет все порвать да изломать, ан и не может. Лес стоит себе да стоит. Может, и изломает она пяток-другой сосенок да березок, а все же остальной лес-то все будет стоять да стоять и долго, может, еще постоит да покрасуется на радость людскую. Так и в жизни нашей. Не все же падают от горя да от беды: кое-кто и живехонек останется да еще посмеется над горем да над бедой. Авось посмеюсь над ними и я, батюшка. Волков бояться – в лес не ходить. А мы, батюшка, в лесу живем. Лес нам не диво.

– Эх, дочка, дочка! – закачал головой Никанор. – Кабы твоими устами да мед пить.

– Меду, пожалуй, батюшка, и не будет, – удало, по-цыгански потрянула головой Галина, – а что уж кашу заварим, так уж заварим кашу крутую! Вот увидишь, батюшка!

И Галина вдруг повеселела. Начала утешать отца, начала смеяться, топтать ногами, запевать какие-то непонятные песни. Казалось, только одна радость да веселье и ютятся под этой убогой, нахмуренной кровлей.

Ах, великое дело, братцы, юность!..

Глава IV

Малиновый домик

Великие события обыкновенно чередуются с маленькими, чаще всего с ничтожными, имя которым легион. Насколько первые обращают на себя внимание, настолько вторые до того обыденны, что никому до них нет никакого дела, кроме, разумеется, того, кого они близко касаются. Первые записываются историей, переходят из уст в уста, служат предлогом для споров, догадок и умозаключений. Вторые – на веки вечные остаются в темноте и никогда никого не занимают, кроме, разумеется, опять-таки того, кого они близко касаются. Между тем они, эти маленькие события, и составляют суть обыденной жизни человеческой – все тех же маленьких людей.

Тридцатого ноября 1729 года девятнадцатилетний император Петр Второй торжественно обручился вторично с красавицей-княжной Екатериной Алексеевной Долгорукой, сестрой известного фаворита своего, князя Ивана Долгорукова.

Москва гудела колоколами. Во дворце все радовались и поздравляли обрученных.

Радовался в тот день и один маленький человек, довольный своими маленькими делами.

Отставной сержант Преображенского полка Николай Митрофанович Иванов только что повенчался с любимой девушкой и искал для будущих своих радостей теплое и удобное гнездышко. Он хотел купить для себя и для молодой своей супруги домик. Домик такой нашелся, и нашелся именно в таком роде, как желалось и ему и его красавице жене.

В одном из тупичков Сивцева Вражка давно уже обращал на себя внимание и соседей и всех проходящих своей миловидностью и красотой домик в два этажа, деревянный, на каменном фундаменте. Он весь был выкрашен в яркую малинового цвета краску и окружен был весь довольно обширным садом, что весной и летом, когда сад цвел и зеленел, придавало домику какой-то странный и вместе с тем необыкновенно привлекательный вид. Так и хотелось зайти туда, осмотреть все, полюбоваться, повидать тех счастливых людей, которые обитают в нем.

Но счастливых людей в малиновом домике не обитало до тех пор, пока не приобрел его отставной сержант Иванов.

Там жил до сержанта какой-то старичок лет восьмидесяти, угрюмый, нелюдимый, носивший всегда платье темно-малинового цвета. Так он и был известен в околотке как Темно-малиновый старичок. Да еще называли его масоном. Говорили, что в его малиновый домик раза два в год наезжали отовсюду какие-то люди на своих лошадях, богатые, хорошо одетые, и проживали там по несколько дней. В это время ворота в доме запирались наглухо и отпирались только для крайних надобностей, ставни закрывались и выпускались на двор чересчур уж здоровые псы, вопреки собачьей породе мало лаявшие, но зоркие, смелые и злые. В такое же время почти никто не любопытствовал знать, что происходит в домике, хотя любопытных было немало. Весь домик погружался в какую-то мертвенную тишину. Только однажды, уж бог весть по какому поводу, глухой осенней ночью из домика выбежала с криком женщина и куда-то мгновенно скрылась. После один из соседей малинового домика рассказывал, что он женщину эту хорошо видел, что она была молода и, должно быть, не из простых. Кроме того, ему удалось даже подсмотреть, что в домике в тот день внутри ярко горели восковые свечи и какие-то люди, все в черном, в каких-то высоких колпаках, носили вокруг стен большой гроб. Все это пугало соседей, но тем не менее малиновый домик оставался привлекательным. Наконец в одно серое сентябрьское утро все соседство малинового домика как-то сразу узнало, что Малинового старичка и масона не стало. Немедленно приехали какие-то молодые родственники, муж и жена, торжественно похоронили старичка, причем соседи заметили, что за гробом его шло немало знатных особ. Новые владельцы малинового домика прожили в нем всего только два месяца и как-то быстро в одно утро выехали из него. Стало известно, что малиновый домик продается.

Отставной сержант Преображенского полка Иванов, весьма естественно, пленился таким привлекательным домиком и немедленно приобрел его, тем более что владелец малинового домика продал его не только дешево, но даже как-то охотно и торопливо, точно он сбывал ненужную и надоевшую ему вещь. Сперва это несколько удивило отставного сержанта, но потом он рассудил, что не только даровому, но и дешевому коню в зубы не смотрят, и на этом основании не дал своему удивлению простора.

Приобретение сержантом малинового домика совершилось как раз 30 ноября 1729 года. Вот почему Иванов, помимо радости, какую ему доставляло как бывшему хорошему, честному служаке императора Петра Первого обручение его сына, радовался еще и своей собственной удаче.

В несколько дней сержант сделался полным и окончательным обладателем малинового домика и немедленно перебрался в него. Малиновый домик с садиком, невзирая на снежный декабрь, как будто еще более повеселел. Среди обрамленных инеем деревьев домик выглядел теперь еще более уютным, еще более грациозным. Он казался приютом какой-то феи-волшебницы зимы, которая по какому-то странному капризу избрала себе это местопребывание среди других, таких сереньких, таких невзрачных домиков.

Супруги своим гнездышком не могли нарадоваться.

– Достойный всякого внимания домишко! – говорил десятки раз на дню отставной сержант, заглядывая во все углы домика, все ощупывая, все примеривая.

– Хорошо... Ах как хорошо! – вторила ему молодая супруга, тоже дочь сержанта, сослуживца Николая Митрофановича, Ироида Яковлевна.

Супруги обменивались ласковыми взглядами, а затем следовало то, что обыкновенно бывает между молодыми супругами, – поцелуи.

Кое-что, однако, относительно домика, отставной сержант благоразумно утаивал от своей молодой супруги.

Обходя домик, заглядывая во все его углы, он неожиданно наткнулся на такие вещи, которые могли изумить всякого. То он на стенах находил какие-то странные, непонятные надписи. То видел там и сям изображения каких-то фигур и фантастических птиц, раскрашенных яркими красками. То находил какие-то огромные железные кольца и костыли. В одном темном чулане он наткнулся даже на крышку гроба, на которой были тоже какие-то изображения, сделанные черной краской.

Петровский служака, отставной сержант, был не из робких. Все это его нисколько не испугало, не заставило призадуматься. Решив, что, должно быть, старый хозяин домика дурил от нечего делать, он самолично надписи и фигуры замазал, железные кольца и костыли выкинул, а крышку гроба сжег.

Таким образом, молодайка Николая Митрофановича не узнала о тех таинственных вещах, которые ему попались на глаза и которые, несомненно, испугали бы молодую супругу.

Жизнь молодых потекла своим чередом. Супруги были люди невзыскательные, и потому дни их проходили ровно, спокойно, тихо. Один день походил на другой, как походит одна капля воды на другую. Не было ни размолвок, ни ссор, хотя характеры их были почти противоположны. Но эта противоположность, вероятно, и была причиной их мирной, безропотной жизни.

Отставной сержант, смелый и неуступчивый на службе, молодец среди мужчин, в домашней жизни с молодой женой вел себя необыкновенно сдержанно, даже, можно сказать, покорно. Все делалось так, как угодно было Ироиде Яковлевне, или Ирочке, как называл ее ласкательно Николай Митрофанович. Она в доме всем правила, всюду следила, на все налагала свой гнев или свою милость. Николай Митрофанович почти ни во что не вмешивался. Он только курил свою трубку-носогрейку, курил почти целый день, так как табак в то время благодаря указу

Петра Второго о свободной его продаже всяким быстро входил во всеобщее употребление и сделался сразу весьма дешев.

Несколько крутой и предприимчивый характер Ироиды Яковлевны обнаружился без всяких проволочек. Дочь сержанта, невзирая на свою молодость, и не думала скрывать от мужа, кто и что она. Она сразу заявила, что она «молодайка-бой» и спуску никому не даст.

– И не давай! – согласился с ней муж.

– И не дам! – смеялась Ирочка.

– И мне тоже?

– Ну уж тебе – куда ни шло! Тебе кое-что, а то и все простить можно. Ты на то и муж.

– Вот это женка! – восклицал сержант. – Так любишь?

– Тебя да не любить?! – было ответом сержанту.

Ироида Яковлевна и точно любила, и любила крепко, своего молодца-сержанта.

Время между тем шло – шло, как всегда оно идет: для кого быстро, для кого медленно, для кого оно летело птицей, для кого ползло червяком. Для наших молодых оно летело птицей.

Летели птицей и более серьезные, исторические события.

В 1730 году, в день Крещения, молодой император простудился, а 19 января его уже не стало. Члены Верховного тайного совета избрали на русский престол, но с ограничением власти, Анну Иоанновну, дочь царя Иоанна V Алексеевича, от брака с Прасковьей Федоровной Салтыковой. 9 февраля Анна Иоанновна прибыла из Митавы в Москву, а 25-го восприяла самодержавие. Через восемь дней был уничтожен ею Верховный тайный совет, а в апреле она торжественно короновалась в Москве.

– Чудеса, чудеса совершаются в мире! – говорил наш никому не ведомый отставной сержант, будучи наслышан обо всех этих событиях. – Истинно чудеса!

Со своими умозаключениями и догадками по поводу этих событий он нередко обращался к Ироидочке. Но молодая женщина относилась к горячо передаваемым событиям не только безучастно, но даже холодно. Ее интересовало как женщину совсем другое. Все интересы, кроме своих собственных, отодвигались у нее на задний план. И неудивительно – она готовилась быть матерью.

Настал день, и ожидаемое молодой женщиной совершилось: она родила дочь.

Само собой разумеется, что отец от радости, как говорится, потерял голову. Замечательно, что при подобных явлениях почти все отцы одинаковы: теряются, толкуются, советуют и говорят бог знает что, надоедают с вопросами.

Бойкая повитуха без всякой церемонии устранила вмешательство в подобное дело Николая Митрофановича и даже посоветовала ему удалиться со двора.

Николай Митрофанович послушался повитухи относительно невмешательства, но со двора не ушел. Он тихонько поместился в соседней комнате, стал ко всему тревожно прислушиваться, и сердце его дрогнуло небывалой доселе радостью, когда он услышал крик – крик смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать, крик только что явившегося на свет божий человеческого существа.

Николай Митрофанович упал перед образом на колени.

– Господи, благодарю Тя, благодарю! – шептал он со слезами умиления на глазах.

И никому не ведомый отставной сержант чувствовал себя в это время на такой высоте счастья, что и не желал бы и не просил бы у Господа другого: с него было довольно и этого. Все это счастье круто подступало к его сердцу, и его сердце ныло неизъяснимой радостью, неизъяснимым наслаждением. Ему и в голову не приходило, что эта только что зажегшаяся жизнь человеческого существа, жизнь, еще колеблющаяся, как огонек лампы, будет в свое время жить, предъявлять свои права, будет иметь свою радость, свое горе, и – как знать! – не будет ли это зверь в образе человеческом...

Отставной сержант не имел времени да и не находил нужным останавливаться над тайнами жизни человеческой. Он смотрел на все просто и естественно, как и подобало ему смотреть, простому и недалекому. Но он по-своему, как человек, любил, и по-своему, как человек, искренне веровал. А любовь и вера – лучшие спутники жизни человеческой.

К вечеру над сержантом смиловались: ему позволили увидеть своего первенца. Но сержант покуда увидал не человека, а какую-то твердую куколку, которая, однако, косила глазами, чмокала губами, и все лицо ее, этой куколки, как-то уморительно морщилось.

Повитуха поднесла куколку к самому носу сержанта:

– Аль не хороша? Полюбуйся, батюшка! Твое отродье, военное. А в солдаты не сдашь.

– И точно, кажись, косточка военная! – отвечал сержант на шутку повитухи и хотел куколку тронуть пальцем.

Но куколка в это время, сморщившись еще более и еще уморительнее, чихнула ему прямо в лицо.

– Здравия желаю, ваше благородие! – гаркнул вдруг во все горло отставной сержант и добродушно рассмеялся.

Новое благородие не поняло отцовского приветствия и жалобно запищало.

– Кобыла преображенная! – выбранилась весьма основательно повитуха и тотчас же унесла пискуна куда следует.

Пискуна вскоре окрестили и по желанию матери назвали Дарьей.

В метрике же местный священник написал несколько пространнее.

«Дарья, Николаева дочь, Иванова, – записал он, – рождена от сержанта в отставке Николая, сына Митрофанова, Иванова и от жены его, Ироиды, дочери Якова, Булычевцевой, в супружестве Ивановой тож».

Так появилась на свет в малиновом домике на Сивцевом Вражке будущая Дарья Николаевна Салтыкова.

Ни для кого, кроме родителей, незаметное, обыденное событие это совершилось в июле месяце 1730 года.

Глава V

Первые проявления

Как только в малиновом домике появилось новое существо, то, весьма естественно, появилось и немало новых хлопот.

Все в домике стало как-то еще оживленнее, еще суетливее: чаще хлопали двери, чаще раздавались то довольные, то недовольные голоса, и надо всем этим – один голос, звонкий, назойливый, до надоедливости однообразный, но тем не менее самым виновникам его существования весьма милый.

Мать кормила ребенка сама, но все же для дальнейшей помощи была взята и нянюшка – краснощекая, круглая, молодая деревенская бабенка из крепостных, которая покуда занималась только стиркой пеленок и прочими хозяйственными мелочами.

Сам преображенец ликовал необыкновенно. Вопреки своей прежней сдержанности перед молодой женой он сделался теперь и более развязным и более смелым. Голос его звучал ровно, как голос хозяина, чувствующего свою силу. Роль отца он почему-то считал великой ролью и соответственно этой роли поднял голову.

Ироидочка, молодая мать, смотрела на это сквозь пальцы, не давала молодцу-преображенцу чувствовать своей силы и как-то углубилась в самое себя. Она находилась в том блаженном настроении, в каком обыкновенно при таких условиях находятся почти все молодые матери, – она тихо наслаждалась. Как мать по целым часам она любовалась на свое крохотное детище, и при этом немало дум теснилось в ее молодой материнской голове. О чем думают при таких условиях матери – дело тайное.

Совсем иначе любовался своей дочуркой отставной сержант и высказывал думы свои открыто и ясно.

Он говорил:

– Подрастет эта каналья, эта косточка военная, станет девкой на возрасте, и выдам же я ее за военного, ни за кого другого – ни-ни! А и шельма же будет девка – по глазам вижу!

И точно, у шельмы глазенки были замечательные: крупные, синие, навывкате и необыкновенно вдумчивые, хмурые. Глядела ими девочка, и, казалось, что она присматривается ко всему окружающему, чутко прислушивается и даже очень хорошо понимает, о чем говорят. Мать иногда не могла выносить этого взгляда своего ребенка и отворачивалась. Преображенец отец, напротив, очень любил этот взгляд в своей дочурке, сам устремлял на нее свои серые, добрые глаза, и, таким образом, иногда ничего не сознающая малютка и отставной бравый солдат минуты по две глядели друг другу в глаза и как бы соразмеряли свои силы для какой-то предстоящей им борьбы.

– Ах, бестия! Взгляд-то, взгляд-то какой! Словно у волчицы! – восхищался преображенец. – Ироидочка! – обращался он к жене. – А ведь это признак хороший!

– Что же хорошего? – спрашивала та.

– А никому, бестия этакая, как вырастет, спуска не даст!

Ироидочка соглашалась с мужем, что это хорошо, но при этом сомневалась, не признак ли это какой-нибудь детской боли.

– Эк хватила! – разубеждал ее преображенец. – Какая тут может быть боль?! Просто девчурка – анафема, и все!

И стала расти анафема и стала развиваться все более и более. Когда девчурке минул год, она выглядела почти двухлетним ребенком.

– Вона как девка-то растет! – любовался ею преображенец.

Вместе с ранним развитием появились у ребенка и какие-то ранние наклонности довольно резкого свойства. Она почти не по-детски и весьма больно царапалась и кусалась.

Более всего это испытывала на себе нянька, деревенская бабенка, но, привычная ко всему, она не придавала этому ни малейшего значения. Но мать, невзирая на свою любовь к ребенку, оцарапанная ею однажды больно и до крови, отхлестала девочку прутиком и была поражена тем, что девочка при этом не издала ни малейшего крика: она только ежилась и морщилась, как-то зло и загадочно вперив глазенки в мать. Ироида Яковлевна смутилась, бросила прутик и сообщила немедленно о том мужу.

Подобное событие преображенца нисколько не удивило. Он только расхохотался.

– Шкура барабанная! – воскликнул он восхищенно, взяв девочку на руки. При этом преображенец неловко как-то прижал ей что-то и тут же убедился, что шкура барабанная не думает давать спуску и ему, отцу ее и преображенскому сержанту, – она так крепко вцепилась ему в волосы, что в освобождении мужа от ласк дочери должна была принять участие и мать.

Преображенец, однако, хохотал во все горло, восклицая:

– Пусти, шельма! Парик испортишь! Парик-то больших денег стоит!

Но девочка долго и упорно теребила его «дорогой парик», не понимая, вероятно, что такое дороговизна, теребила молча, сосредоточенно, точно она дело делала или даже просто наказывала.

Мать задумывалась над тем, что видела; сердце ее смутно подсказывало, что это не к добру.

– Отучать ее надо, – заметила она как-то мужу.

– Отучай. Это дело бабье – не мужское, – отвечал преображенец. – Я в бабьи дела не вмешиваюсь. А впрочем, не нахожу ничего опасного. Все дети баловники – балуют. Побалует-побалует – и бросит. Да ты чего взъелась так-то, матушка?

– Больно кусается.

– Зубы растут, чешутся зубы – вот и кусается. Не собака же она, в самом деле!

– Собака не собака, а...

Ироида Яковлевна остановилась, не зная, как обозвать свою кусающуюся дочку.

– Ну что – а? – пристал к ней муж.

– Уж не знаю, как и обозвать ее... – замялась жена.

– Как обозвать! Как обозвать! На что тебе обзывать дочку-то? У нее есть христианское имя – христианским именем и обзывай. Зовут Дарьей. А коль хочешь помягче – называй Данькой, Доней, Донюшкой... Ну, сама там знаешь как... дело бабье... известное дело...

– Вестимо, знаю... да я так...

– А так зуб-то попусту и не чеши! Они у тебя, поди, поострее Донькиных будут. Да вот! – как будто спохватился преображенец: – Уж не в тебя ли она и зубастая такая? А? Право?

Преображенец весело расхохотался, радуясь своей находчивости в таком семейном и довольно щекотливом вопросе. Жена вспылила. Шутливость мужа раздражила ее.

– Вона! – заговорила она. – Зубастая?! А сам-то ты кто? Кто ты сам-то? Скажи-ка, ну-ка?

– Сержант Преображенского полку русской службы солдат! – отчеканил по-военному преображенец.

– Не сержант, а черт! – горячилась жена.

– Ну и черт еще! – шутил муж.

– А коли сержант и черт, то и дочь твоя... то и дочь твоя – чертова сержантка! – выпалила вдруг Ироида Яковлевна и тут же сразу сама удивилась тому, что сказала, и не только удивилась, но даже смутилась и застыдилась своей неуместной вспышки, вследствие которой ее же любимая дочь ею же самой была обозвана бог знает как.

Преображенец словно ожидал этого. Он разразился таким добродушным, таким неудержимым хохотом, повторяя, захлебываясь «чертова сержантка! чертова сержантка!», что Ироида Яковлевна, вполне сконфузившись, почла за лучшее удалиться, обозвав, однако, и мужа-сержанта тоже чем-то вроде «чертовой кочерги».

С этого дня название Чертовой Сержантки так и осталось за маленькой Доней. Называл ее так отец. Называла сама мать. Скоро название это благодаря, конечно, болтливой нянюшке перешло за ворота маленького домика, да так и пошло ходить из уст в уста, как обыкновенно ходит всякая сплетня, всякое кстати и бойко сказанное словцо, всякое прозвище.

И неудивительно: такие прозвища часто бывают лучшей характеристикой человека. А русский человек на такие характеристики мастер.

Глава VI

Зуботыка

Несколько лет прошли для малинового домика почти незаметно. Сержант изменился мало. Еще менее изменилась Ироида Яковлевна – она только пополнила несколько и потому выглядела сановитей и важеватей, что еще более придавало ей женской прелести и чему немало радовался отставной преображенец.

Изменилась только много Чертова Сержантка: из маленького задорного существа, кусавшегося и царапавшегося, она превратилась в красивенькую, полненькую девчонку, уже не требовавшую за собой ни малейшего ухода. К великому удивлению родителей, Чертова Сержантка в десять лет совсем не оправдывала данного ей в раннем детстве прозвища. Теперь это была сосредоточенная, даже угрюмая не по летам девочка, смотревшая почти всегда исподлобья, нелюдимая и молчаливая, всегда искавшая уединения. В ней осталась только старая злость, и злость эта в ней была настолько велика, что родители частенько просто-напросто боялись ей противоречить. Чертова Сержантка очень хорошо это знала и пользовалась своим влиянием вполне. Все в доме как-то незаметно подчинилось этой маленькой султанше, все ее слушались, все внимали ей, все за ней ухаживали, как за куколкой, и слово ее было законом для всего дома.

Из нее вырабатывалась уже будущая суровая повелительница.

Нередко отец и мать втихомолку вели речь о своей дочке и о ее будущей судьбе.

– Как полагаешь, Ирочка, – начинал преображенец, – что выйдет из нашего детища, из нашей дочки?

– Что выйдет? – недоумевала Ироида Яковлевна. – Выйдет то, что Богу угодно.

– Это само по себе. Без Бога не до порога. А все же человеку о человеческом и думать подобает.

Ироида Яковлевна женщина, в сущности, недалекая, не находила, что отвечать и представляла подумать о будущей судьбе дочери мужу.

– Вот уж ей десять лет, – догадался однажды сержант, – а мы ее еще ничему не выучили. Одни только молитвы и знает.

– Так учи, – согласилась жена.

Была позвана Чертова Сержантка.

– Ну, ты, – обратился к ней отец, – удалая голова, учиться хочешь?

Чертова Сержантка, помолчав, спросила:

– А чему учить-то будешь?

– Ну, чему... известное дело чему... Чему всех дворян учат, тому и тебя учить будут...

– Грамоте?

– А хотя бы и грамоте.

– А на что мне грамота? – возразила дочь. – Я девка. Девке грамота не надобна.

– Но ведь ты сержантова дочка! – старался урезонить неподатливую дочь отец.

– Велика птица – сержант! – грубо возразила дочь.

– Ну и черт с тобой! – махнул рукой отец. – Не хочешь – не учись. Сама же после пожалеешь.

Дочь, однако, подумав, согласилась, чтобы ее учили.

– Резон! – похвалил ее за согласие отец. – Я завсегда был того резону, что ты девчонка преумная. А уж и учитель у меня, Дашутка, – отдай да мало! Сам, бестия, все в рот кладет! И многознающ, что царь Соломон!

Многознающий Соломон появился в малиновом домике немедленно и был показан своей будущей ученице. Ученица, увидев его, так и ахнула от изумления.

– Так он-то учить будет? – воскликнула она.

– Он самый, – ответил отец.

Чертова Сержантка фыркнула и плюнула на пол.

И действительно, было от чего фыркнуть и плюнуть.

Явившийся учитель представлял из себя такую странную, почти безобразную фигуру, что невольно напрашивался на плевок. Он был низенького роста, почти карлик, толст и с огромной курчавой головой, которая очень сильно суживалась кверху. Лицо у него было совсем рябое, грубое, а маленькие серенькие глазки совсем ушли в глазницы. Одет он был в какой-то темный балахон, доходивший до пят, отчего вся фигура его походила на движущейся сноп.

Минуты две «сноп» этот стоял молча перед будущей своей ученицей, а потом тоже молча показал ей кулак.

Преображенец разразился хохотом.

– Что? Каков? – хохотал он.

– Чучело! – воскликнула девочка и ткнула кулачком Многознающего Соломона в плечо.

– Ты не дерись, – ответил Соломон, – не то и сам сдачи дам! – И он опять показал ученице кулак.

Тут уж разразилась хохотом и ученица:

– А ну-ка дай! А ну-ка, дай! – хохотала она под носом Соломона. – Погляжу, как ты дерешься! Тятка, прикажи ему подраться! Я погляжу, как он дерется! Ну ты, карла великая, подерись! Подерись же!

И она начала тормошить Соломона, как будто какое-нибудь неодушевленное существо.

– Отстань! – вдруг вскрикнул Соломон. – Не то и взаправду зуботыкну!

– Ай, какой страшный зуботыка! – вскрикнула девочка и, будто в самом деле испугавшись, выбежала из комнаты.

– Мало ты, солдат, вижу я, лозы имеешь! – тотчас же по уходе девочки заметил сноповидный учитель.

– Для чего это? – спросил преображенец, не переставая весело моргать глазами и, видимо, довольный тем, что приводом такого учителя сумел распотешить дочь.

– А для своей, для этой солдатки! – отвечал учитель.

– Так ты, ученая голова, приготовь ее, лозу-то! – шутил преображенец.

– Коль понадобится, спуску не дам! А то и ученье начинать – воду толочь.

– Ты вот, ученая голова, потолки водицу-то, тогда и узнаешь, кому солоно достанется – тебе или ей.

– Уж спуску не дам! – твердил свое ученая голова.

Учение началось без замедления. Сноповидная фигурка учителя аккуратно с утра начала появляться в малиновом домике, и немедленно весь домик наполнялся таким шумом и гамом, что это заметили даже соседи.

Шум этот и гам производили всего только три человека: учитель, ученица и сам преображенец. Учитель кричал и грозил ученице. Ученица кричала и грозила учителю. Преображенец хохотал.

Иногда в общий гам вмешивалась и сама Ироида Яковлевна и весьма благоразумно замечала мужу, что такое учение до добра не доведет, что лучше бы бросить его, учение это, а такого крикуна-учителя выгнать со двора в три шеи. Но сама ученица восставала против этого. Видимо, такая своеобразная, бурная метода учения нравилась ей, и она, вся раскрасневшаяся, со сверкающими глазами, веселая и довольная, заметно наслаждалась этой бестолочью, которой сама же она и была главной виновницей.

Нисколько не унывал, по-видимому, и учитель, этот «Многознающий Соломон», «ученая голова» и «зуботыка», как прозвала его ученица. Он бодро шел к своей цели, все терпел и, казалось, твердо решил побороть все препятствия, которые ставила ему сама же ученица.

Рвение его в этом отношении зашло так далеко, что он не замечал даже тех толчков, которыми усердно наделяла его очень часто ученица.

Один только раз Соломон, выведенный из терпения подобными толчками, позволил себе поднести свой кулак к самому носу Чертовой Сержантки.

– Так и тресну! – пригрозил он ей.

На эту угрозу Чертова Сержантка ответила, по своим силам, довольно порядочной пощечиной.

– Вишь, как больно дерется! – только и мог произнести при такой оказии ученая голова.

Глава VII

Васильковый кафтан

Тот, кого преображенец называл «ученой головой», а Чертова Сержантка «зуботыкой», как человек и христианин, носил и христианское имя. Его звали Иона Маркианыч, а прозвище его было Гнедой. Как только Чертова Сержантка узнала, как зовут ее учителя, то немедленно к старой кличке было прибавлено и слово «гнедой». Таким образом, Иона Маркианыч уже носил кличку Гнедой Зуботыка. Эта кличка за ним утвердилась во всем малиновом домике. Так и говорилось: «Пришел Гнедой Зуботыка», «Гнедой Зуботыка ушел» и так далее.

Учение между тем шло своим порядком. Невзирая на всю бестолочь этого учения, ученица все-таки уже кое-что знала и вообще отличалась хорошей памятью и хорошей сообразительностью. Иона Маркианыч в этом отношении на свою ученицу жаловаться не мог. Но он мог пожаловаться на кое-что другое. Вопреки всякому педагогическому смыслу, дело было поставлено так, что не учитель обижал ученицу, а напротив – ученица обижала учителя, и обижала довольно чувствительно. Не проходило того дня, чтобы бедный Зуботыка не уходил домой с синяками на плечах или на каком либо другом месте. Ученица щипалась при всяком удобном случае. Стоило только заглядеться Ионе Маркианычу, как ученица с быстротой кошки с какой-то непонятной злорадностью, искривлявшей вдруг ее красивенькое личико и наводившее на все выражение лица ее вдруг что-то жестокое и далеко не детское, кидалась на него, на своего учителя, и крепко впивалась пальцами в намеченное на его теле место. При этом происходило нечто странное и необъяснимое. Так грозно заявивший себя Зуботыка медленно оборачивался, так же медленно почесывал больное место и смотрел, долго смотрел на Чертову Сержантку с тем выражением в глазах, с каким обыкновенно смотрит угнетенная овца на собирающегося зарезать ее мясника. На глазах у Зуботыки в таких случаях нередко появлялись и слезы. И опять происходило нечто странное и непонятное. Слезы появлялись на глазах и у Чертовой Сержантки, и все личико ее принимало такое соболезнающее, такое печальное выражение, что Иона Маркианыч забывал о своей боли и видел только одну печаль своей ученицы. Печаль эта так трогала его, что он даже считал необходимым по-своему утешить ее.

Он обыкновенно говорил несколько хриплым, тихим, ласкающим голосом:

– Ну, ты... ты опять... да перестань ты... право же, перестань... А коль щипаться охота – щипись...

Подобное непостижимое утешение производило, однако, свое действие: Чертова Сержантка утирала свои слезки, немедленно веселела, смеялась и прыгала возле своего учителя, как резвая козочка.

Оживлялся и сам учитель. Рябое лицо его осенялось улыбкой, маленькие серенькие глазки начинали сверкать из-под бровей, и вся фигура его принимала какой-то праздничный вид, вследствие чего не особенно замечалось и его физическое безобразие. Словом, наш Гнедой Зуботыка как будто несколько перерождался, делался несколько интереснее.

В такие минуты беседы учителя с ученицей делались и проще и дружественнее.

Чертова Сержантка обыкновенно начинала первая.

– Отчего ты Гнедой? – спрашивала она. – Ведь ты не конь? Не конь ведь?

– Копыт у меня нет, – объяснялся Гнедой, – стало быть, я и не конь.

– Так отчего же ты Гнедой?

– Оттого и Гнедой – прозвище такое.

– Стало, есть и бурые, и чалые, и саврасые? – не отставала ученица.

– Может, и есть... – соглашался Гнедой.

Среди подобных разговоров Чертова Сержантка успела узнать, кто таков был ее учитель, хотя это совсем нисколько ее не интересовало.

Иона Маркианыч был сын сельского попа, учился в семинарии, некоторое время диаконствовал в одном селе под Москвой, но был по желанию помещика удален за свою «неблагообразную фигуру» и с тех пор принялся за педагогическую деятельность по домам небогатых людей. Он был далеко не глуп, достаточно знающ в своем деле, но насмешки над его наружностью превратили его в подобие какого-то шута. Он освоился с этой ролью, и даже, почти помимо воли, более по привычке, старался всюду поддерживать раз начатое шутовство, тем более что это было и небезвыгодно. Шутовство защищало его от многого, а в то время – время карлов и шутов – шутовство было несравненно выгоднее многих служб и обязанностей. Шутовски, по обыкновению, вошел Иона Маркианыч и в малиновый домик преображенца. Но тут шутовство его как-то сразу обрезалось, не нашло себе простора, чему он был и рад. Шутовские крики его с ученицей прекратились, и он стал перед нею тих и терпелив. Но страннее всего было то, что он как-то незаметно для него самого начал все более и более привязываться к малиновому домику. Не побывать в малиновом домике хоть один день казалось для него потерей. А между тем по условию с преображенцем он обязан был приходить для учебы в неделю всего только четыре раза. Преображенец не желал утруждать дочь усиленным учением и эти дни назначил для отдыха, из которых суббота посвящалась преимущественно одной бане.

Под разными нехитрыми предложениями Иона Маркианыч заглядывал в малиновый домик и в эти дни.

Преображенец был очень рад: все-таки было с кем перекинуться одним-другим словечком. Они больше говорили о старине, вспоминали отца Петра, так как оба они очень хорошо знали великого императора. Преображенец был от Петра в восхищении. Все, что было создано Петром, он находил превосходным и великим. Иона Маркианыч не совсем с ним соглашался: он недолюбливал Петра за некоторые стеснения относительно духовенства и даже иногда порицал. Следствием таких недоразумений были небольшие споры между преображенцем и «ученой головой», оканчивавшиеся всегда весьма миролюбиво. Приятели выпивали по несколько чарок анисовки, которую, как известно, предпочитал другим напиткам и великий император, и речь у них принимала совсем иной оборот: тут уж более начинал говорить Иона Маркианыч, и что бы ни говорил – всегда речь оканчивал похвалой, всецело относившейся к Чертовой Сержантке. Похвалы его маленькой преображенке были неистощимы, и до того они были восторженны, что удивляли самого преображенца.

– Да черт! Кого ты хвалишь? – восклицал иногда преображенец.

– Дочку твою хвалю, твою Сержантку! – объяснял Иона Маркианыч.

– За что, скажи-ка, брат?

– За ум. У дочки твоей великий ум.

– Эх хватил! – смеялся преображенец, но при этом ему было весьма приятно, что хвалят его родное детище. Но он старался скрыть это и требовал разъяснения: – Почему? Ты скажи, ученая голова, почему у моей Чертовой Сержантки отыскался ум?

– Это уж от Бога, – серьезно пояснял Иона Маркианыч. – Все идет от Бога.

– Без тебя сие знаем, ученая голова. А ты скажи: отчего у меня, у простого сержанта Преображенского полка, родилась такая умная дочь?

«Ученая голова» подобным вопросом несколько озадачивался, но все-таки старался кое-как объясниться.

– Родилась! Гм! Почему же и не родиться, удалая ты голова? – говорил он. – Инде и в бесплодной пустыне вырастает колос пшеничный. Инде и бесплодная смоковница дает единый плод зрелый.

Вступив на почву аллегорических объяснений, Иона Маркианыч в этом отношении заходил весьма далеко и городил иногда нечто такое, чего уже преображенец не понимал и слушал, вытаращив от удивления глаза.

Вообще Иона Маркианыч был порядочный мастер городить чушь, а среди этой чуши он позволял себе иногда как бы кое-что предрекать, предсказывать.

Эту черту выработало в нем постоянное шутовство, и черта эта частенько так сослуживала ему хорошую службу. Среди недалеких людей, веровавших во всякую крупную и мелкую чертовщину, во всякие гаданья и нашептыванья, он пользовался довольно изрядной репутацией гадателя. Эта отрасль его знания была для него несравненно доходнее педагогической деятельности, и он всюду зашибал ею изрядную копеечку. В качестве прорицателя у него на дому имелись и кое-какие принадлежности подобного звания. У него было немало трав, камней, порошков и прочей дребедени. У него даже имелся «рог единорога», считавшийся в то время таинственным и эффективным средством от многих болезней и недугов, и между прочим от бесплодия. «Рогом» этим Иона Маркианыч весьма дорожил и хранил его, что называется, за тридцатью замками, ибо «рог» этот был для него и рогом изобилия. Благодаря этому «рогу» Иона Маркианыч имел свой довольно порядочный домишко в Кудрине, жил со старушкой-стряпухой довольно обеспеченно и, во всяком случае, имел деньжонок не менее преображенца.

Жизнь его, таким образом, текла ровно, спокойно, и ему не доставало только одного – хозяйки по дому.

«Эх, кабы хозяйка, – думал нередко Иона Маркианыч, – все бы пошло еще лучше! Бросил бы тогда и детишек учить, и дураков лечить. Засел бы у себя в домишке, залег бы на печи да и ел бы с хозяйкой пироги с морковью али с кашей».

В свое время, однако, у Ионы Маркианыча была и хозяйка, но это было так давно, что время то представляется Ионе Маркианычу как во сне. Хозяйка его прожила тогда с ним не более года: больная, хилая, она сошла в могилу, не оставив даже своему вдовцу-супругу о себе никаких светлых воспоминаний.

В настоящее время Ионе Маркианычу лет уже около пятидесяти, а женат он был лет тридцать назад, и во весь этот долгий тридцатилетний период времени он уже не мог найти себе хозяйку. Физическое уродство отталкивало от него всех женщин, и бедный урод примирился с этим, не покушался уже отыскивать хозяйку, а только позволял себе помечтать по этому поводу, и то изредка, и то в минуты «грусти безнадежной», когда одиночество уж особенно, как говорится, допекало его, бедного урода.

В последнее время он только и отводил душу в малиновом домике – и малиновый домик сделался для него чем-то совершенно необходимым. Не существуй, казалось, малинового домика, ему бы и деваться было некуда со своим горьким одиночеством, ему бы и делать было нечего.

Преображенец как бы понял эту появившуюся у Ионы Маркианыча необходимость: принимал его ласково, вел с ним беседы, подчас даже советовался. Они сблизились, стали почти друзьями. В свою очередь, нередко советовался с преображенцем по своим делишкам и Иона Маркианыч, причем он отдавал должное и уму, и опытности Николая Митрофановича.

При всем этом, может быть и случайно, может быть и намеренно, Иона Маркианыч стал появляться в малиновом домике совсем в ином виде. На нем уже не было длинного темного и безобразного балахона. Иона Маркианыч появлялся в малиновый домик в кафтане темно-василькового цвета, который был ему впору и даже по-своему шел к его фигуре. Волосы он держал в порядке, лицо и руки мыл чисто и вообще выглядел много приятнее и солиднее прежнего.

Само собой разумеется, что первая заметила эту перемену в Гнедом Зуботыке Чертова Сержантка.

Первое появление Зуботыки в темно-васильковом кафтане было для нее настоящим торжеством. Увидев его в новом кафтане, она побросала под стол книги и тетради, запрыгала, захлопала в ладоши и начала вертеть Зуботыку, восторженно повторяя:

– Ай какой мудреный! Ай какой мудреный!
Зуботыка конфузился, словно десятилетний мальчишка:
– Чего – мудреный? Мудреного ничего нет!
– Как нет? А кафтан?
– Кафтан как кафтан. Все такие носят кафтаны.
– Ан и не все! Ты один такой носишь! Кто же носит кафтан василькового цвета? Кто же носит, скажи-ка?

– Вот я ношу. Я надел.
– Скинь!
– Ну и скину! – согласился Зуботыка.
– А наденешь что?
– Балахон опять надену.
– Ай, балахона не надо! Не надо балахона! – смеялась Чертова Сержантка. – Ты в кафтане лучше!

– Ну, буду носить кафтан, коль в кафтане лучше!

Тут же девочка заметила, что у Зуботыки и сапоги хорошие, и порты из какой-то добротной материи, и платок на шее новый, а лицо вымыто чисто, и курчавые волосы как-то хорошо приглажены. Руки тоже чисты, и ногти подстрижены.

– Ты теперь совсем не Гнедой! – продолжала шутить девочка. – Ты теперь Василек! Василек? Ай, как это хорошо! Я васильки люблю! Они такие хорошенькие во ржи! Я видела, когда ездила с батюшкой к Троице. Мне еще девочка одна, маленькая такая, худенькая, веноч из васильков сделала! Тогда я еще не училась у тебя... А ты... где ты был тогда?

– Когда? – спросил совершенно глупо Василек.

Девочка рассмеялась:

– А тогда, когда росли на малине желуда!

Василек совершенно растерялся. Он мялся на одном месте, одергивал свой васильковый кафтан и пялил глазами по углам.

Вдруг девочка притихла и скорчила какую-то печальную гримаску.

– Я обидела тебя, Василечек мой? – произнесла она таким удивительно грустным голосом, что сердце у Ионы Маркианыча дрогнуло каким-то неведомым ему доселе чувством.

Он бормотал:

– Что же за обида? Какая обида?

– Так ты не сердись? – обрадовалась девочка.

– Да за что же?

– Да вот за то, что я смеюсь над тобой.

– Эх обиду нашла!

– Так вот же тебе за это! – произнесла шепотом девочка и торопливо чмокнула Зуботыку в лоб, а затем с особенной силой ущипнула его за плечо и сама куда-то скрылась.

Весь тот день васильковый кафтан Ионы Маркианыча служил неистощимой темой для разговора. Преображенец нашел кафтан «изряднехоньким». Ироида Яковлевна похвалила цвет и покрой. Нянька только воскликнула: «Ах какой ты!» – и, смеясь, убежала в кухню. Но сам обладатель василькового кафтана, казалось, был чем-то расстроен. Он говорил иногда кое-что невпопад, часто оглядывался или задумывался, и глаза его частенько блуждали как-то бестолково то по углам, то по потолку. Преображенец наконец заметил это.

– Ты, ученая голова! Что с тобой такое? – спросил он с участием. – Аль охмелел, что новый кафтан надел?

– Не по себе чтой-то.

– Домой иди, отдохни. А то выпей-ка вот чарочку анисовой, авось полегчает.

После анисовой Иону Маркианыча разморило еще более. Он собрался уходить домой, и когда уходил, перед ним мелькнула русая головка Чертовой Сержантки, и, как ему показалось, она провожала его глазами с каким-то особенным сожалением.

Домой он возвратился в каком-то жгучем угаре. Всю ночь потом ему не спалось, и наконец, уткнувшись лицом в подушку, он тихо заплакал, а когда заснул, то метался, как больной. Странные и непостижимые сны снились одинокому, всеми презираемому и никому не нужному уроду, и среди всех этих снов он почему-то сознавал, даже хотел себя уверить в том, что уродливое тело имеет и уродливые помыслы.

Глава VIII

Видение императрицы Анны

Для Ионы Маркианыча настало какое-то странное время. Из часу в час, изо дня в день он бродил как угорелый. То на него находили минуты какого-то блаженного состояния, когда все вокруг казалось ему и добрым и светлым: и солнце светило ярче, и вся природа словно улыбалась ему. То вдруг сердце его ожесточалось. В эти минуты бедный урод то горько плакал, то проклинал все, что видел перед своими глазами, и черная злоба ко всему на свете закипала в его сердце. Иногда он казался совершенно помешанным, и на него было отвратительно смотреть в это время: уродливость его кидалась в глаза еще больше, и еще больше он производил отталкивающее впечатление.

Все в малиновом домике заметили эту резкую перемену в Ионе Маркианыче и при случае сторонились его.

Не сторонилась одна Чертова Сержантка и, бог весть почему, стала к нему как будто милостивее. Она часто называла его ласкательными именами: звала «гнедушкой», «зуботычкой», «миленьким василечком», и ее юные поцелуи все чаще и чаще обжигали лоб Ионы Маркианыча.

На такую сцену наткнулся как-то нечаянно преображенец. Сначала он не сообразил, что это значит, но потом задумался, и когда ушел Иона Маркианыч, он позвал дочку к себе.

Взглянув на фигуру дочери, плотную, здоровую, не по годам развившуюся, он задумался еще более, и что-то подозрительное зашевелилось у него в мозгу. Перед ним стояла не десятилетняя девочка, а девчонка лет шестнадцати, румяная, со сверкающими смелостью, доходящей до злости, глазами. При этом она и держалась совсем как-то не по-детски.

– Чего тебе, батька? – спросила она у отца.

Преображенец отвечал не сразу.

– Чего? Гм! – сказал он потом и пристально стал глядеть на дочь.

Дочь заметила это.

– Аль давно не видал? – произнесла она.

– Видать видал, дочка. Да вот дивуюсь на тебя: какая ты у меня рослая да покладистая. Ни дать ни взять девка на возрасте.

– Чай, дочь-то твоя – получше меня знаешь, отчего я рослая да покладистая, – отвечала без запинки дочь.

– Ан и не знаю.

– А не знаешь, так, стало, и знать не надобно.

Преображенец нахмурил брови.

– Можно речь-то и покладней вести! – заметил он.

– На нескладицу нескладицей надобно и ответ держать! – резко возразила дочь.

Преображенец прикусил язык, чувствуя, что дочь права и что ему не следовало заводить с нею той речи, которую он завел. Но он хотел показаться перед ней строгим отцом и сказал:

– А вот я уже приготовлю лозу, коя кому-нибудь по хорошему месту придется.

– И приготовь. Лозою, чу, бают, в могилу не вгоняют. Может, кому лоза и на пользу.

– Тебе она на пользу, дочка!

– А на пользу – и пользуй. Чай, служичи-то к этому делу попривык как следует.

Хмуро и грозно посмотрел преображенец на дочь-грубиянку, поморщился в досаде на свое бессилие перед ней и переменял речь:

– Гляжу я на тебя, дочка, – умна ты больно. Поумней уж стала нас, стариков. Не пора ли тебе учебу-то закончить?

– Мудрены вы, старики, гляжу и я: лозой учиться заставляют да лозой же заставляют и покончить учение. Аль всюду так заведено? Аль уж у вас одних такие порядки ведутся?

Сухощавое лицо преображенца заметно покраснело. Он злился и готов был кинуться на дочь с кулаками. Но благоразумие удержало его недостойный порыв. «Зверенок!» – только подумал он.

В тот же день преображенец вел с женой долгую и тихую беседу по поводу выходов дочери. Ироида Яковлевна при этом откровенно созналась, что она просто-напросто боится дочери. Того же мнения, но только уже о себе, был и преображенец, но жене о том не признался – стыдно было. В конце концов родители Чертовой Сержантки порешили не обращать на дочь внимания и предоставить ее самой себя: пусть, мол, делает что хочет. Преображенец даже до того негодовал на дочь, что не преминул заметить:

– Черт с ней! Пусть хоть голову сломит – туда ей и дорога!

– Ай, чтой-то ты, Николай! Зачем такого желать родному детищу! – вступилась за дочь Ироида Яковлевна.

– Пожелаешь, жена! Ты бы поглядела, каким бесом она глядела на меня, когда я говорил с ней, так сама бы ей всякого рожна пожелала! Волк волком, дьяволенок этакой!

Дьяволенок и точно начал в большинстве случаев глядеть волк волком. Это было нечто до того дикое и злое, что при одном ее появлении всем как-то делалось неловко. Особенно чувствовали это отец и мать. За всем тем в иные минуты, хотя довольно редкие, девчонка помимо своей физической красоты поражала всех и какой-то своеобразной обаятельностью, полной и удалой прелести и безотчетной, чарующей привлекательности. В зрелых годах такие женщины носят название сирен и лорелей и действительно бывают опасны и даже губительны для хвастающего своим первенством мужчины. Сколько их, бедных, измучилось и погибло под влиянием этих на первый взгляд, казалось бы, незначащих взглядов и улыбочек женского кокетства и еще погибнет сколько – счету нет!

Только что вышедшая из отрочества Чертова Сержантка, весьма естественно, не понимала еще ничего из числа тех тайн, которыми впоследствии природа так щедро награждает слабый пол, но тем не менее помимо своей воли девочка уже проявляла их, и, по-видимому, они, эти тайны, должны были развиться в ней до чудовищных размеров. Она ходила как-то особенно, вразвалку, но легко и скоро, как будто крадучись. Говорила несколько медленно, улыбаясь краями хорошеньких губ, и при этом красивые глаза ее тоже как будто что-то говорили и тоже улыбались, подернутые своеобразным блеском. Смех и хохот ее были загадочны, смелы, и хотя не заразительны, но до того своеобразны, что, раз услышав этот смех, он уже более не забывался. Вообще в юной Чертовой Сержантке соединилась какая-то смесь дикости, зверства даже с очарованием первой, не совсем еще расцветшей молодости в виде хорошенького существа. Она стала для всего малинового домика загадкой.

Более всех, конечно, она была загадкой для Ионы Маркианыча. Ему казалось, что и его ученица находится в таком же чаду, как и он сам.

Вскоре это подтвердилось, хотя в таком невыразимом виде, что лучше было бы, чтобы уж ничего и не подтверждалось.

На дворе стоял октябрь первых чисел 1740 года. Погода была прекрасная, ясная и теплая. Но это было только в Москве. В Петербурге было хмуро и дождливо, и при этом было как-то хмуро и при дворе императрицы Анны Иоанновны. Императрица чувствовала себя плохо, никуда не выезжала, и поэтому все удовольствия двора, на созидание которых был такой мастер Бирон, прекратились. Всему Петербургу было, само собой разумеется, не по себе. Хотя императрица и назначила своим преемником внука, принца Ивана Антоновича, рожденного 12 августа того же года, но прозорливые дипломаты да и многие высокопоставленные особы столицы чувствовали и сознавали всю непрочность этого назначения. Всем им хорошо было

известно, что власть перейдет в руки Бирона, но являлось сознание и в том, что Бирон власть удержит ненадолго и что после него правительницей империи, по ходу дела, должна сделаться мать Ивана Антоновича, Анна Леопольдовна. Но ее имя было так непопулярно, что не ждали добра и от ее правления.

В это время по Петербургу, а потом, разумеется, и по Москве втихомолку разнеслась странная, таинственная весть о видении императрицы Анны, которое произошло во дворце. Речь шла о двойнике, явившемся императрице в одну холодную октябрьскую ночь.

Иона Маркианыч на правах всезнайки и шута проведал об этой таинственной истории как-то раньше других и тотчас же явился с нею в облюбованный им малиновый домик преображенца.

Мы не будем передавать этой таинственной истории устами Ионы Маркианыча, но передадим ее устами очевидца, со слов которого рассказ о ней, об этой истории, перешел в записки одной почтенной, всем в свое время известной, графини В-ой.

Товарищ очевидца со взводом солдат был дежурным в карауле поздним вечером. Это было во дворце на Фонтанке, у Аничкина моста. Караул стоял в комнате подле тронной залы. Часовой находился у открытых дверей. Императрица уже удалилась во внутренние покои, и все стихло. Было уже за полночь. Дежурный офицер уселся, чтобы вздремнуть. Вдруг часовой зовет на караул; солдаты вскочили на ноги, офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь. Он видит, что императрица Анна Иоанновна ходит по тронной зале взад и вперед, склонив задумчиво голову, закинув руки назад и не обращая ни на кого внимания. Часовой стоит как вкопанный, рука на прикладе, так же и весь взвод стоит в ожидании. Но выражается что-то необычайное в лице императрицы, и эта странность ночной прогулки по тронной зале начинает их всех смущать. Офицер, видя, что она решительно не собирается идти дальше залы, и не смея слишком приблизиться к дверям, решается наконец пройти другим ходом в дежурную женскую и спросить, не знают ли там намерения императрицы.

Тут дежурный встречает Бирона и рапортует ему, что случилось. «Не может быть! – вскричал герцог. – Я сейчас от императрицы! Она ушла в спальню ложиться». – «Взгляните сами – она в тронной зале», – объясняет дежурный. Бирон идет и тоже видит императрицу. «Это какая-нибудь интрига, обман какой-нибудь, заговор, чтобы подействовать на солдат!» – вскричал герцог и кинулся к императрице. Он уговорил императрицу выйти в тронную залу, чтобы в глазах караула изобличить какую-то самозванку, какую-то женщину, пользующуюся некоторым сходством с ней, чтобы морочить людей, вероятно, с дурным намерением.

Императрица решилась выйти как была. За нею пошел и Бирон. Императрица увидела женщину, поразительно похожую на нее, которая при этом нимало не смутилась. «Дерзкая!» – вскричал Бирон и вызвал весь караул.

Караул вышел и, по словам очевидца, весь своими глазами увидел две Анны Иоанновны, из которых настоящую, живую, можно было отличить от другой только по наряду и по тому еще, что она вышла с Бироном из другой двери. Императрица, постояв минуту в удивлении, выступила вперед и пошла к той женщине, говоря: «Кто ты? Зачем пришла?»

Не отвечая ни слова, та стала пятиться, не сводя глаз с императрицы, отступая в направлении к трону, и наконец все-таки лицом к императрице, стала подниматься, пятившись, на ступеньки под балдахин.

«Это дерзкая обманщица! Вот императрица! Она приказывает вам: стреляйте в эту женщину!» – вскричал Бирон взводу.

Измученный, растерявшийся офицер, скомандовал, солдаты прицелились. Женщина, стоявшая на ступенях у самого трона, обратила глаза еще раз на императрицу и исчезла.

Анна Иоанновна повернулась к Бирону и сказала: «Это моя смерть!»

Затем она поклонилась остолебеневшим солдатам и ушла к себе...

– А что ты, удалой солдат, смекаешь при такой оказии? – спросил Иона Маркианыч, как только кончил рассказывать по-своему вышеприведенную таинственную историю.

– Нет, ты что смекаешь, ученая голова? – спросил в свою очередь преображенец, и спросил таким тоном, что Иона Маркианыч несколько смутился, но, мгновенно оправившись, по-своему истолковал слышанное и самим им рассказанное. – А смекаю то, – толковал он, – что тут дело неладно. Уж коли сама императрица поведала, что это ее смерть, то, стало быть, смерть это и есть.

Преображенец вдруг вскочил.

– Слово и дело! – закричал он во все свое солдатское горло и крепко схватил Иону Маркианыча за ворот его васьковского кафтана.

Ворот затрепал, а сам владелец его в испуге присел к самому полу. Вслед за тем раздался какой-то неестественный, глухой стон бедного уроды.

Глава IX

«Слово и дело»

В свое время слова «слово и дело» были слова ужасные. Почти все XVIII столетие полно политическими, а частью и просто уголовными делами, начатыми по возгласу «слово и дело!». Этими ужасными словами нередко злоупотребляли, а нередко пускали их в ход из-за таких пустяков, что больно доставалось и тому, кто говорил за собою «слово и дело!». Большей частью злоупотребления со «словом и делом» совершались ради алчности: доноситель, говоривший за собою «слово и дело», ежели донос его подтверждался, получал по тому времени довольно большую награду. Обыкновенно, смотря по важности дела, выдавалось от двадцати пяти до ста рублей.

«Слово и дело» было созданием Петра Великого и являлось при его крутых преобразованиях крайней для него необходимостью. Почти во все свое царствование он не мог быть спокоен: тайная крамола не дремала и старалась подточить в зародыше то, что стоило великому императору много трудов и много денег. Таким образом, насилие порождало насилие же. Да и в нравах того века это было делом весьма естественным. Сама Западная Европа представляла в этом отношении нечто еще более жестокое, так что наша Преображенская, Тайная канцелярия во главе со знаменитым князем Федором Юрьевичем Ромодановским могла еще показаться сравнительно с казематами и подпольями инквизиторов чем-то более человечным и снисходительным. Там, в Западной Европе, пытки инквизиторов были доведены до таких тонкостей, до каких наши доморощенные Трубецкие, Ушаковы и Писаревы никогда не додумывались, да и не старались додумываться: достаточно было дыбы, батоков и кнута.

При всем этом необходимо заметить, что в то суровое время лютые пытки как бы порождали и людей, способных переносить всякого рода истязания: появлялись натуры железные, которые сами очертя голову как бы напрашивались на ряд всевозможных мучений. Без всякого повода, без особой нередко причины и умысла люди эти извергали хулу на все святое, буйно порицали и бранили владык и тем самым делались преступниками первой важности, для которых, по тогдашним суровым законам, не могло существовать пощады. В этом отношении особенно упорны и дерзки были первые раскольники.

Некоторые сами лично являлись к великому императору и лично заявляли свой протест, отдавая себя на расправу судьям.

Таков был Ларион Докукин, из подьячих.

Этот человек, будучи уже лет шестидесяти, в самое тяжелое для Петра время – время суда над приближенными царевича Алексея – явился к императору, когда тот 2 марта 1718 года был в церкви на «старом дворе», и подал ему какие-то бумаги. Петр принял их и развернул первую: это был печатный экземпляр присяги царевичу Петру Петровичу и отречение от царевича Алексея Петровича. Под присягою, где следовало быть подписи присягающего, написано было крючковатым, но четким, крупным почерком отречение, а в заключении сказано: «Хотя за то и царский гнев на мя произливается, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его святой за истину аз, раб Христов Иларион Докукин, страдати готов. Аминь, аминь, аминь». Само собой разумеется, началось следствие, которое привело Докукина к казни. Во все время суда Докукин оставался при своем убеждении и с ним же умер на плахе.

Было немало и других примеров в этом же роде, которые потонули в общем море тогдашней уголовщины.

Небезынтересно заметить и то, что именно существовало как известный уголовный окрик до «слова и дела».

До Петра, а частью и при Петре, все уголовные дела вершились сначала в Стрелецком приказе, а затем на так называемом Потешном дворе в Кремле. До 1697 года личная без-

опасность, охранение собственности от воров, порядок, тишина и общественное спокойствие Москвы были вверены попечению и наблюдению стрельцов, а ночью берегли город «решеточные» сторожа и воротники, которые выбирались из посадских, слободских и дворовых людей. Заговор Цыклера и Соковнина, полагавших свои надежды на содействие стрельцов, побудил Петра в 1697 году окончательно уничтожить влияние стрельцов. Окончив дело заговорщиков казнями и ссылками, Петр, отъезжая за границу, поручил Москву и наблюдение за тишиной и безопасностью столицы князю Федору Юрьевичу Ромодановскому, главному начальнику отборных солдатских полков, Преображенского и Семеновского. Таким образом, стрельцов заменили преображенцы и семеновцы, а полицейский суд и расправа от Стрелецкого приказа перешли уж преимущественно на Потешный двор в Кремле, устроенный царем Алексеем Михайловичем. Здесь-то, на этом Потешном дворе, знаменитый князь Ромодановский начал именем великого государя чинить суд и расправу, тут же он привык к будущей своей деятельности в Преображенском, и тут же им наказано было употреблять в драках и других уголовных событиях, как было и прежде, крик «караул!», а в крайних и опасных случаях, вроде, например, бунта или заговора, возглас «ясаком промышляй! ясак хован!». Долго еще потом бестолковому «ясаку» суждено было быть единственным криком, зовущим на помощь при необыкновенных событиях, а «караул» дожил даже и до наших дней, и едва ли когда русский человек отрешится от своего «караула» – «караул» при безобразиях так же необходим русскому человеку, как щи и каша! Для него это тоже своего рода пища.

Усложнившиеся события политических смут и неурядиц вынудили Петра Великого заменить «ясака» «словом и делом». «Слово и дело» быстро вошло во всеобщее употребление, и этими словами, как мы уже говорили, много начали злоупотреблять.

Смерть Петра не уничтожила странного возгласа, и он вместе с Канцелярией тайных розыскных дел просуществовал до 1762 года. В этом году император Петр III Федорович указами от 17 и 21 февраля уничтожил и страшное «слово и дело», и ненавистную народу Канцелярию тайных розыскных дел, руководствуясь в этом случае примером своей тетки, императрицы Елизаветы Петровны, которая незадолго перед тем уничтожила смертную казнь за обыкновенные преступления.

Так кануло в вечность ужасное выражение «слово и дело»...

Глава X

Проклятая

В 1740 году, в году, когда происходит действие нашего повествования, «слово и дело» было еще в полной своей силе. Мнительная, болезненная императрица Анна Иоанновна и вместе с нею суровый курляндский герцог Бирон не находили нужным уничтожить его, да и время было такое, что от всех можно было ожидать всего – мрачное, тяжелое, беспокойное было время.

Можно же себе представить, как велик был испуг Ионы Маркианыча, когда преображенец крикнул «слово и дело!».

– Слово и дело! – повторил он еще раз, и с каким-то несвойственным ему озлоблением поволок Иону Маркианыча к двери, решив отдать его в руки правосудия.

Иона Маркианыч заголосил, и заголосил так, что Ироида Яковлевна пришла в ужас не менее самого Ионы Маркианыча и схватила мужа за руку.

– Опомнись! – крикнула она. – Чтой-то ты городишь такое, бестолковый? Какое тут тебе «слово и дело»? Аль обалдел ты, муженек мой? Аль уж успел опохмелиться с утра с самого? Пусти его!

Преображенец на мгновение приостановился.

– Пустить? Кого пустить, жена? – грозно сверкнул он глазами. – Или тебе неведомо, не поняла ты, что он сказал такое?

– Пусти! – настаивала Ироида Яковлевна,

– Прочь! – крикнул преображенец и толкнул жену так, что та чуть было не упала.

Между супругами затеялась перебранка, первая с тех пор, как они сделались мужем и женой. Иона Маркианыч не переставал охать и копошиться у ног все еще державшего его преображенца. На крик супругов выбежала наконец дочь.

– Что тут? Куда тебя тащут, Зуботыка?

– Ох! – стонал Иона Маркианыч. – «Слово и дело» сказал за собой... на суд тащат... спасите, люди милостивые!

– Батька, пусти его! – обратилась дочь к отцу.

Преображенец изумленно посмотрел на свое детище:

– Как... пусти?

– Так и пусти! А то и отниму, черт этакой!

Преображенец стал в тупик:

– Ах, паскуда!

– Сам паскуда! – было ему ответом.

И вслед за тем с какой-то отчаянной силой, вовсе несвойственной молодой девчонке, она вырвала из рук отца Иону Маркианыча, толкнула его в дверь и за ним выскочила сама.

Все это произошло так неожиданно, так быстро, что присутствовавшая тут же Ироида Яковлевна видела все как во сне. Но она страшно перепугалась, когда взглянула на мужа. Преображенец побагровел и, видимо, задыхался от душившей его злобы, а взгляд его был полон какого-то непреодолимого ужаса.

– Что же это?.. Что же это, жена, а?.. – заговорил он наконец каким-то неестественным голосом – голосом, в котором слышалось все: и ярость беспомощного человека, и лихорадочная тревога, и нечто такое животное, что приближает человека к дикому зверю.

Ироида Яковлевна не сразу нашлась, что ответить. Она беспомощно смотрела на мужа и ожидала, что он скажет далее.

Преображенец, как бы поняв это, продолжал:

– Да, я знаю, что это... знаю... Она мне больше не дочь... Не надо... прочь ее... прочь от меня!

И он судорожно замахал рукой, точно отталкивая от себя ту, которую гнал.

– Прочь! Прочь! – повторял он.

Тут Ироида Яковлевна, несколько успокоившись, нашла необходимым успокоить мужа.

– Николай, полно тебе, полно! – заговорила она. – Девчонка, недомысленная, сдуру, с праху словцо неразумное сказала, а он, на-ка, прочь да прочь!

– Прочь! Прочь! – твердил преображенец.

– Куда прочь-то? Опомнись!

– От меня прочь!

– Не чужая же она тебе – дочь, ты то попомни.

– Нет, она мне не дочь! Не дочь! – бормотал настойчиво преображенец. – Какая она мне дочь! У меня нет больше дочери!

И он все продолжал махать рукой, а голос его дрожал все более и более.

– На-ка! Затвердил одно, что сорока на суку, да и мечется! – заметила мужу Ироида Яковлевна. – Полно тебе, старый. Опомнись!

– Опомниться?! Ха, я уж давно опомнился, государыня моя, давно! Да и пора: стар стал, сед стал, еле вон на ногах стою! Сама, чай, видишь! Видишь?

– Вестимо, вижу – не слепая.

– Нет, ты слепая! – придрался вдруг к слову старый преображенец. – Совсем-таки слепая, государыня моя! Кабы ты не была слепая, ты бы видела, куда твоя дочка идет! Видела бы! А ты не видишь! Ты не видишь, – горячился все более и более преображенец, – что в твоей дочке сам черт сидит! Ты не видишь, что в ней нет ничего человеческого! Она – зверь, зверь, зверь!

Ироида Яковлевна закрестилась:

– Опомнись ты, оглашенный! Опомнись!

– Опомниться?! Ха, я уж давно опомнился, государыня моя, давно! Старому солдату пора опомниться! Служил Богу, служил царю Петру, турку видел, шведа видел, штыком работал, всего видел, всего пережил, а уж того, чтобы родные дочери своих родных отцов бранью бранили – не видывал и не знал доселе! Боже! Боже! – поднял преображенец руки кверху. – Вот мои седины перед Тобой: голова моя старая, служилая, недомысленная! Прости мне то, что скажу! А скажу я слово страшное, слово отцовское!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.